

Лидия Чарская

Ради семьи



Лидия Алексеевна Чарская

Ради семьи

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=634855

Лидия Чарская. Собрание сочинений:

Аннотация

Книга известной писательницы начала XX века Лидии Алексеевны Чарской рассказывает о девушке по имени Ия, которая после окончания института вынуждена работать, чтобы содержать старушку-мать и младшую сестру. Ия становится классной дамой в пансионе, и ей предстоит завоевать сердца непослушных воспитанниц.

Содержание

Глава I	4
Глава II	13
Глава III	26
Глава IV	34
Глава V	52
Глава VI	63
Глава VII	72
Глава VIII	84
Глава IX	100
Глава X	110
Глава XI	125
Глава XII	140

Лидия Алексеевна Чарская

Ради семьи

Глава I

...Где-то поблизости с шумом упало яблоко, и Катя раскрыла милые сонные глаза.

У входа в ее шалашик стоял крестьянин Ефрем и протягивал ей какую-то серую бумажку.

– Иштафета издалеча. Отнеси маменьке. Расписаться велют.

Катя не сразу поняла, чего хочет от нее этот седобородый, сухой, как спичка, человек в ветхом зипуне, исполняющий в соседнем селе должность почтаря и посыльного.

В ее растрепанной головке еще плыли сонные грезы, какие-то сладкие сны, с которыми так не хотелось сейчас расставаться.

А кругом звенел своим летним звоном ее любимец сад. Жужжали пчелы, пели стрекозы, чиликали птицы, порхая между ветвями старых яблонь и лип. В узкое отверстие входа заглядывало ласковое солнце, и из шалашика, любимого места Кати, куда она приходила мечтать, грезить, а иногда и спать, можно было видеть наливавшиеся в последней стадии назревания сочные яблоки, словно алой кровью пропи-

таннные ягоды красной смородины и играющий изумрудными огнями сквозь тонкую пленку кожицы дозревающий на солнце крыжовник.

Одним общим ласковым взглядом черные глазки девочки обняли родную ее сердцу картину, и она быстро вскочила на ноги.

– Телеграмму привез? Давай, давай!

Выхватив из рук Ефрема депешу, она с быстротою, так свойственной ее резвым четырнадцатилетним ножкам, птицей метнулась мимо него и помчалась к крыльцу, мелькая красным ситцем платья между деревьями и кустами.

– Ма-моч-ка, те-ле-грам-ма! – кричала она из сада, без тени тревоги на оживленном, загорелом как у цыганки лице.

– От Андрюши из Венеции... Верно, приедет скоро!.. Траляляля! Траляляля! Приедет наш Андрюшенька, приедет, – запела Катя.

Последняя фраза прозвучала уже на пороге крошечной террасы, где Юлия Николаевна Басланова, хозяйка маленькой усадьбы «Яблоньки», сидела за чисткой крыжовника для варенья.

Склонив седеющую голову с добрыми глазами, такими же черными, как у Кати, но далеко не такими жизнерадостными, как у той, она вооруженной ножницами рукой тщательно подстригала мохнатую бородку на каждой ягоде, вынимая их из корзины, и отбрасывала очищенный крыжовник на большое блюдо, стоявшее перед нею на столе.

Ей помогала старшая дочь, семнадцатилетняя девушка с поэтичной головкой блондинки и серьезным лицом, в котором большой неожиданностью являлся энергичный склад тонких сжатых губ, придававший некоторую суровость всему ее хрупкому облику.

Большие серые глаза девушки смотрели задумчиво и строго.

Ия Басланова и по внешнему виду казалась полной противоположностью своей младшей сестры – олицетворения жизнерадостности и веселья.

Катя с шумом ворвалась на маленькую террасу и теперь, приплясывая и прищелкивая пальцами, кружилась перед матерью и сестрою, распевая во весь голос и потрясая высоко над своей черной растрепанной головкой только что полученной телеграммой.

– Траляляля!.. От Андрюши... траляляля! – напевала она.

Юлия Николаевна побледнела. Она заметно встревожилась уже с той минуты, когда услышала звонкий Катин голос в саду. Сама по себе телеграмма уже являлась из ряда вон выходящим явлением в их бедной событиями жизни. А тут еще депеша пришла из Италии, от ее сына Андрея, молодого художника, отправившегося совершенствоваться туда, в эту поэтичную прекрасную страну, издавна славившуюся колыбель высшего художественного искусства.

Было от чего взволноваться и встревожиться любящему материнскому сердцу.

Ия поспешно встала из-за стола и подошла к сестре.

– Перестань шалить, Катя... Давай скорее телеграмму, – тоном, не допускающим возражений, проговорила она и, быстрой рукою взяв у сестры депешу, вскрыла ее.

Дыхание захватило в груди девушки. Она волновалась за мать. Телеграмма могла принести одинаково как хорошие, так и дурные вести. Но лицо Ии ни одной своей черточкой не выдало охватившего молодую девушку волнения. Серые глаза казались по-прежнему спокойными, и таким же спокойным был ее голос, когда она громко читала полученную депешу.

В телеграмме стояло несколько строк:

«Прошу бесценную мамочку благословить мой брак с княжной Анастасией Вадберской. Свадьба завтра. Целую всех. Андрей».

Пока Ия с трудом разбирала русские слова, написанные латинскими буквами (так принято писать депеши за границей), лицо Юлии Николаевны передало целую гамму самых разнородных ощущений. Здесь были: и огромное всепоглощающее удивление, и испуг, и боль разочарования, и, наконец, отчаяние.

Когда последнее слово в депеше было дочитано, тяжелый вздох вырвался из груди матери.

– Андрюша... милый... дорогой Андрюша!.. О... О Господи! – прошептала Юлия Николаевна, откинувшись на спинку стула.

Из-под сомкнутых ресниц по бледным щекам покатались крупные слезы.

Катя, хранившая до сих пор на своем смуглом от загара личике выражение самого жгучего, ничем непреодолимого любопытства, вдруг по-детски скривила рот и тоже залилась слезами.

Она не могла видеть равнодушно материнских слез.

– Мамочка, мамочка, дорогая! – рыдая, шептала девочка, прижимаясь к плечу матери черной кудлатой головенкой, – мамочка, не надо плакать... не на-до.

Слезы матери и младшей дочери смешались.

Одна Ия сохраняла, по-видимому, свое обычное спокойствие.

Стройная тонкая фигурка девушки приблизилась к Юлии Николаевне. Белокурая, отягощенная пышной тяжелой косой головка склонилась над нею. И тихо, мягко, любовно прозвучал нежный голос Ии над ухом матери:

– Мамочка, не плачьте. Слезами горю не помочь. Этого надо было ожидать давно. Что делать, судьба сильнее нас, и вы должны себя утешить мыслью, что были всегда безупречною матерью и воспитательницей в отношении Андрюши и нас с Катей. Что же касается Нетти, то... Милая мамочка, я слышала от опытных людей да и сама читала в книгах, что искреннее чувство часто меняет, облагораживает самые эгоистичные натуры. А Нетти любит нашего Андрюшу, и под влиянием этого чувства расцветет и возвысится ее, может

быть, сейчас и мелкая, пустенькая душа. Право, мамочка! Не надо же приходить преждевременно в отчаяние. Я уверена, что Андрюша будет счастлив с Нетти.

– Но все это так внезапно, Июшка, так неожиданно, – поднимая на старшую дочь заплаканные глаза, произнесла Юлия Николаевна.

– Она – противная эта Нетька! Я ее терпеть не могу! – непроизвольно вырвалось из груди Кати, и черная головка отделилась от материнского плеча.

– Важничает... фыркает... Воображает, что нет лучше ее на свете!

– Перестань, Катя, – строго остановила младшую сестру Ия, – ты еще маленькая девочка, и не твое дело осуждать старших. К тому же надо быть вполне безупречной самой, чтобы иметь право критиковать поступки других. И вообще, Катя, чем меньше ты будешь рассуждать обо всем этом, тем будет лучше. Возьми-ка корзину, там крыжовника осталось всего на доньшке, и пойди в сад, набери там еще ягод.

Последние слова Ия произнесла так энергично, что Кате волей-неволей оставалось лишь послушаться и исполнить приказание сестры.

Надув пухлые губы, девочка захватила со стола корзину и с недовольным видом отправилась в сад.

– Классная дама какая, подумаешь. Только и знает нотации читать, – ворчала она, хлопоча у кустов крыжовника. – Кончила институт весною и воображает, что командовать

может, сколько ей вздумается теперь. Только дудки, я не позволю. – И говоря это, Катя с ожесточением срывала ягоды и бросала их в корзину.

После ее ухода Ия под села к матери. Нежным, полным невыразимой ласки движением обняла ее плечи и заговорила:

– Кати нет, можно теперь обо всем побеседовать свободно, мамочка; только не волнуйтесь, родная. Правда, Андриюшина женитьба является для всех нас большим сюрпризом, но... не это беспокоит меня. Если Андриюша любит Нетти и та отвечает ему таким же чувством – брак их является желательным и счастливым. Но, мамочка, другое тревожит меня. Ведь вы знаете, что Вадберские разорены и что молодые будут принуждены жить исключительно на заработок Андрея, на те деньги, которые он получал и получает от продажи картин и которыми до сих пор так щедро делился с нами. Теперь, мамочка, у него будет своя семья, молодая жена, избалованная родителями, привыкшая ни в чем не иметь отказа, могут скоро явиться и дети, и Андриюше предстоят новые заботы и расходы. Значив надо избавить его, во что бы то ни стало, от прежних. Он, как чуткий и благородный сын, конечно, будет стремиться помогать нам, как помогал до сих пор, но этого допускать нельзя... Художественный талант Андриюши должен развернуться и расцвести безо всяких мелких лишений, и без малейшей нужды должна протекать его жизнь. Надо, чтобы мысль о зароботке как можно

меньше тяготила его, по крайней мере, хотя бы теперь, когда он только что вступает на новый путь и начинает свою карьеру.

И вот, мамочка, я решила сейчас, что все обязательства по отношению к семье, которые нес до сих пор Андрюша, я возьму на себя. Ведь «Яблоньки» приносят так мало, расход по усадьбе едва-едва покрывается доходом, и на него не хватает и на самые насущные потребности. Значит, без помощи со стороны обойтись никак нельзя: надо одеваться, платить за Катю, за ее учение и содержание в интернате, словом, добывать ту ежемесячную субсидию в 50 рублей, которые нам до сих пор посылал Андрюша и на которые мы теперь не имеем права рассчитывать. И это сделаю я. Я постараюсь найти хорошее место, мамочка, бухгалтерши, телеграфистки, гувернантки, кассирши, наконец, которое бы давало мне хороший заработок, а...

– Июшка, – тоскливо сорвалось с губ Юлии Николаевны, – голубка моя, да как же я без тебя-то?.. Ведь уехать придется, Июшка, разлучиться нам с тобою!.. А я так мечтала: вот кончит курс моя старшая девочка, будет со мною жить безотлучно, вместе хлопотать будем, хозяйничать...

– Конечно, уехать, мамочка, не в нашем же милом захолустье искать места, в Петербург придется поехать, в столицу.

– В Петербург? Такой молоденькой? Одной? Да что ты, Июшка! – испуганно проронили губы матери.

Тихий смех Ии прозвучал не совсем естественно, когда

она отвечала матери, стараясь успокоить ее:

– Полно, мамочка, ведь до сих пор вы считали такой благоразумной вашу большую Ию! Неужели же теперь вы так мало верите в ее энергию и силы? Не верите? Нет?

И говоря это, Ия серьезным взглядом своих серых, вдумчивых глаз встретила обращенные к ней любящие глаза матери.

– Июшка! – могла только произнести со слезами Юлия Николаевна и нежно обняла прильнувшую к ней белокурую головку. Этой лаской она как бы давала молчаливое благословение на новый путь своей благоразумной дочери.

Глава II

Студеная августовская ночь с ее призрачным сиянием далекого месяца, от которого небесные высоты кажутся каким-то фантастическим сказочным царством, стояла над «Яблоньками»...

Ткал свою серебряную прозрачную пряжу месяц, заливая млечными лучами и маленькую усадьбу, казавшуюся игрушечной с ее домиком в четыре окна и небольшим яблоневым садом, и прилегавшие к ней сто десятин поля, утилизированных под скромные посевы.

За «Яблоньками» тянулись поля и леса, принадлежащие разорившимся князьям Вадберским и теперь отданные в аренду. У самой опушки леса находилась красивая помещичья усадьба, полуразрушенная временем, с запущенным диким садом и барскими угодами. Уцелел один только главный дом, огромный, как палаццо, старинной архитектуры с колоннами и башенками, со всевозможными затеями, увидевший свет чуть ли не во времена императрицы Екатерины.

В бледном, обманчивом свете месяца он казался средневековым замком.

За помещичьей усадьбой, носившей название «Лесного», тянулась дорога в ближнее село, лежавшее в пятнадцати верстах отсюда и от соседних с ним «Яблонек». В селе находилась церковь, школа, почтово-телеграфная контора и глав-

ная пристань Волги. От ближайшего губернского города С. насчитывалось отсюда сорок верст.

Ия стояла на пороге терраски и смотрела в сад. Была полночь.

Мать и сестра давно спали. Первая, конечно, делала вид, что спит. Ей было не до сна. Брак старшего сына менял совершенно всю давно налаженную программу их жизни. Помимо того, что в их семью входила несимпатичная, крайне избалованная юная особа, в лице княжны Анастасии Вадберской, или Нетти, как ее называли близкие, Юлии Николаевне приходилось отпускать Ию на трудный, тяжелый заработок, к чужим людям, в чужой город, и это не могло не тревожить мать.

Но сама Ия нимало не тревожилась предстоящей ей переменой в жизни. Правда, ей было жаль до слез расставаться с матерью, жаль было уезжать из этого милого гнездышка, где родились и выросли они обе с Катей, где всякий кустик, всякое деревце срослись и сроднились с ними. Каждое лето приезжала сюда она девочкой из института и проводила здесь самые отрадные часы своей юности.

Правда, в этих милых «Яблоньках» узнала она и свое первое тяжелое горе. Здесь умер отец, всегда такой ласковый и добрый, умер в ту пору, когда самой Ие было всего десять лет от роду.

Он был когда-то учителем гимназии и, не выслужив пен-

сии, вышел в отставку с совершенно расстроенным здоровьем; на свои крошечные сбережения он приобрел у соседей Вадберских эту усадьбу и поселился в ней с молодой женой и крошечным сыном.

Князя Вадберские являлись, таким образом, соседями отставного учителя.

Глядя на серебряный океан небес со скользящими по нему облаками самых фантастических очертаний, Ия думала сейчас об этой семье, вспоминая до малейших подробностей некоторые картины своего детства.

Ей десять лет, Андрею – семнадцать.

Отец умер несколько дней тому назад.

Князь Вадберский, высокий, красивый старик в блестящем мундире отставного кавалериста, присутствовал на всех панихидах вместе с дочерью Нетти и двумя сыновьями – Леонидом и Валерьяном.

Их мать, черноглазая подвижная женщина, итальянка родом, с несколько вульгарными манерами, так мало согласовавшись с ее княжеским титулом, вторая жена князя, происходившая из простой мещанской семьи, с которой он после потери первой жены случайно встретился за границей, прислала вдове учителя записку, пропитанную запахом духов и искренним выражением сочувствия и утешения в постигшем несчастную семью горе.

В ближайший же праздник Юлия Николаевна, еще не опомнившаяся от горя, послала своих старших детей благо-

дарить за сочувствие княжескую семью, с которой они до смерти отца не были знакомы.

Как ярко встает этот первый их визит в княжеский дом в воспоминании Ии!

Тогда был чудесный солнечный полдень.

Она, в своем скромном ситцевом траурном платье, сшитом на скорую руку матерью и сидевшем на ней мешком, и Андрюша в его куцей гимназической куртке, из которой он порядочно вырос в то лето, появились среди блестящего шумного общества, завтракавшего среди цветов на большой стеклянной террасе. У нее буквально тогда закружилась голова при виде шикарного многочисленного общества, находившегося на террасе.

Князя Вадберские, несмотря на грозивший им уже и в то время призрак разорения, вели открытую, шумную жизнь.

Красавица княгиня любила быть окруженной гостями, поэтому и в летнее время, которое они проводили в «Лесном», барский дом усадьбы шумел и звенел, не умолкая, смехом, пением и веселыми молодыми голосами. Целыми днями там звучал рояль, раздавались дуэты и хоровое пение. Гостившие родственники и родственницы князя Юрия Львовича, его молоденькие племянники и племянницы заполняли своими звонкими голосами все уголки дома.

В тот день за столом – Ия помнит это отлично – сидело человек двадцать, от присутствия которых она, маленькая дикая провинциалочка, смутилась и растерялась совсем, а тут

еще и сама княгиня увеличила ее смущение.

Очень недалекая и резкая в манерах, но безусловно добрая и чуткая, она посадила около себя маленькую сиротку и стала громко восторгаться ею на весь стол...

Она во весь голос хвалила большие серые глаза Ии, ее пышные белокурые волосы, ее тонкое задумчивое лицо, с которого не сошла печать только что пережитого горя.

Потом стала удивляться ее нежному голоску и кончила неожиданной фразой, обращенной к гостям:

– Если бы моя Нетти была хоть чуточку похожа на эту очаровательную девочку, я сочла бы себя счастливейшей матерью в мире.

Хорошенькая двенадцатилетняя Нетти, унаследовавшая от матери ее черные огневые глаза итальянки, скривила в презрительной улыбке свой очаровательный ротик. Она в своем нарядном платье с эффектно разбросанными вдоль спины черными локонами имела вид настоящей маленькой феи этого старого барского гнезда.

Маленькая красавица высокомерным взглядом окинула скромную сандрильону и шепнула сидевшему подле молодому кузену-пажу:

– Она бесподобна, эта девочка, в ее куцем мешке. Неужели ее не могли одеть поприличнее?

– Куцем мешке, – повторил маленький паж, захлебываясь от смеха.

Очевидно, до слуха княгини Констанции Ивановны до-

летели слова ее дочери, потому что она бросила в сторону Нетти уничтожающий взгляд и быстро-быстро заговорила по-итальянски. После этого обычно розовое личико княжны стало малиновым от смущения.

В тот день дети Вадберские играли в лаун-теннис в саду со своими юными гостями. Оба князя не понравились Ие. Ни черненький, как жук, на одно лицо с Нетти, Валерьян, ни рыжий вялый Леонид. Какая разница была между ними и ее милым неуклюжим увальнем Андриюшей, с его несколько угрюмыми, смотревшими исподлобья серыми глазами и кудрявой, всегда растрепанной головой! Оба мальчика учились в привилегированных учебных заведениях, имели прекрасные манеры и тщательно причесанные на пробор головы. Особенно старший. Младший казался проще. Одеты они были в новенькие, с иголки, кителя, сверкавшие белизною, вежливо шаркали, без умолку болтали по-французски и старались всеми силами, во что бы то ни стало, исправить невежливость их надменной сестрички в отношении юных гостей. Но Ие они показались какими-то автоматами, а не живыми подростками. Совместная беседа как-то не клеилась у детей. Между бедными сиротами учителя и молодыми отпрысками блестящего старинного аристократического рода никак не могли установиться простые, искренние отношения.

– Нога моя здесь больше не будет! – ворчал на обратном пути Андриюша, – это какая-то кукла на пружинах «parlez francais, merci beaucoup» – только и знают, что трещат по-

французски, терпеть не могу таких верченых.

И он сдержал свое слово. До самого окончания курса гимназии юноша не бывал в «Лесном». Не бывала там больше и Ия.

Между тем наступила пора учения для девочки, и Ию отдали на казенный счет в С-ий институт. Теперь она могла только на время летних каникул приезжать гостить в милые «Яблоньки» из большого губернского города, где находилось ее учебно-воспитательное заведение.

А годы шли... Мало-помалу расросся небольшой фруктовый садик в «Яблоньках».

Выросли и окрепли в нем стройные плодовые деревья. Выросли и поднялись незаметно вместе с юными деревцами и дети вдовы Баслановой, бившейся, как рыба об лед, со дня смерти мужа в своем крошечном именице.

Андрюша блестяще закончил курс гимназии и поступил в университет.

Серьезный, вдумчивый, немного угрюмый юноша с детства питал большое влечение к живописи. Еще будучи мальчиком, он очень недурно рисовал небольшие картины, этюды, эскизы и давно уже поговаривал о карьере художника. Но мать и слышать не хотела об Академии художеств, прежде нежели ее первенец не покончит с общим высшим образованием.

И только по получении университетского диплома Андрей Басланов поступил в академию, куда непреодолимая

сила влекла молодого человека.

Новое воспоминание выплыло из недавнего прошлого в белокурой головке Ии.

Это было года два тому назад.

Они с братом проводили летние каникулы в «Яблоньках», помогая матери в ее несложном хозяйстве. Андрей, продолжавший заниматься в академии, был отмечен там как крупный талант. Он уже помогал семье своим заработком, получившимся от продажи его небольших вещиц, которые распродавались по рукам среди друзей и знакомых. Как не закончивший еще своего художественного образования ученик, он не имел права выступать со своими картинами на выставках. Но они охотно покупались знатоками и ценителями искусства.

Этими своими первыми заработанными деньгами он радостно делился с семьей.

В то утро пышный зеленокудрый красавец лес подслушивал пылкие мечты молодого художника, доверчиво поверяемые им сестре.

В зеленом укромном уголке этого леса устроился он со своим мольбертом, заноса на полотно ближайшую группу кустов лесного болотца, покрытого незабудками, и синий шатер неба, развернувшийся над ними.

Ия читала вслух брату «Дворянское гнездо». Перед ними в блестящих красках разворачивались вдохновенные картины творца-художника... Мелькали образы Лаврецкого, Ли-

зы, Левина... Несравненный язык Тургенева звучал как музыка. Брат и сестра забыли весь мир, погруженные в свое занятие.

Вдруг негромкий возглас восторга послышался за их плечами. Кисть выскользнула из рук Андрея. Смущенно опустила книгу на колени Ия. Перед ними стоял князь Вадберский под руку с женой. В то время княжеская семья шла уже быстрыми шагами по пути к разорению. Лес, единственное богатство их, частью продавался, частью сдавался в аренду. Наполовину вырубленный, исковерканный, он уже не мог прокормить своих владельцев. Вот почему Вадберские большую часть года проводили теперь в Венеции, откуда была родом сама княгиня Констанция Ивановна и откуда приезжали лишь на три летних месяца в свое «Лесное».

Наткнувшись случайно на работу молодого художника, чета Вадберских пришла от нее в восторг. Князь Юрий Львович, тонкий ценитель искусства, когда-то сам увлекался живописью, мечтал стать художником.

Он расхвалил работу Андрюши и пригласил его к себе с его молоденькой сестрой.

Когда-то нелюдимый, угрюмый гимназист, теперь превратился в красивого стройного молодого человека с живописно выющимися кудрями, с мягким взглядом серых добрых глаз. К тому же он, этот молодой художник, подавал большие надежды. Младшее поколение княжеского дома радушно встретило своего прежнего знакомого.

Знакомство возобновилось. Андрей Басланов стал теперь часто бывать у соседей. Он написал удачный портрет княгини, и престиж молодого художника еще больше окреп.

В ту же осень Вадберские убедили его уехать с ними за границу, в их милую Венецию, предлагая поселиться у них в доме.

Поездка в Италию, слывущую лоном искусства, живописи, давшую миру такие великие имена, как Рафаэль и Леонардо да Винчи, была давнишней тайной мечтой Андрея. Памятники классической старины манили к себе издавна молодого художника. Но он не смел даже надеяться попасть туда. И вдруг мечта воплощалась. Греза становилась действительностью. Было от чего прийти в восторг молодому художнику.

Сам старший князь решил снова заниматься живописью и приглашал к себе в дом Андрея, как человека, обладающего художественной системой и талантом, могущего помочь ему уроками и советами на этом поприще.

Не колеблясь ни минуты, юноша согласился.

Италия, как живая академия классического искусства, могла дать ему больше всяких художественных классов, и он без горечи расстался с последними.

Была тут еще и другая причина, почему так охотно схватился юноша за предложение своего нового покровителя.

Черные глазки шестнадцатилетней красавицы Нетти так ласково при встречах поглядывали на него, а сама Нетти, надменная и гордая со всеми, но добрая, чуткая с ним, каза-

лась Андрею какой-то сказочной феей.

Ия, поверенная всех планов, надежд и переживаний своего талантливому брату, первая узнала о чувствах его к юной княжне. Тогда еще пятнадцатилетняя девочка, она не могла понять, как мог ее добрый, ласковый ко всем, исключительно благородный по натуре брат отличить эту пустыньскую, ветреную и крайне эгоистичную барышню, предававшуюся до самозабвения светским выездам и нарядам.

Но тем не менее это было так.

Андрюша полюбил Нетти чистой, прекрасной, молодой любовью, – девушка отвечала ему тем же.

В Италии он весь ушел в работу.

Чувствуя себя обязанным князю, так благородно и чутко предложившему ему свою помощь на поприще его художественной карьеры, молодой Басланов старался оправдать всеми силами возложенные на него надежды. Он учился и работал за границей без устали.

Кочуя из музея в музей, Андрей дополнял на образцах классиков свои пробелы по художественному образованию. В школах он проходил азбуку живописи, начиная свое образование с азов.

И в часы отдыха писал на продажу эскизы, портреты, этюды и небольшие картины.

Ежемесячно самым аккуратным образом в далекие «Яблоньки» посылалась субсидия в размере большей половины его заработка. Вторую половину он вносил за свое содержа-

ние князю, не желая обязываться оказавшему ему и без того незаменимую услугу Юрию Львовичу.

Умный и чуткий от природы, Андрей не мог не понять, что занятия его с Юрием Львовичем являлись только предлогом со стороны последнего, дабы дать возможность ему, молодому художнику, устроиться с большими удобствами у них в доме, нежели где-нибудь на мансарде холостого жилища. И Андрей не мог не ценить этого.

В семье Вадберских его полюбили как родного, о чем он с радостью сообщал в письмах матери и сестре.

Сообщал он попутно в них и о своих робких надеждах и планах на будущее. Его талант признали и на чужбине, критика лестно отметила его, сбыт картин увеличился. Будущее улыбалось молодому художнику. И надеждами на это будущее жила теперь в «Яблоньках» маленькая семья.

И вдруг этот брак с княжной Нетти!

Ия, любя всем сердцем брата, должна была бы радоваться его счастью.

Но... образ холодной насмешливой девочки еще жил в ее воспоминаниях, и самый тип Нетти, пустынькой светской барышни, любившей выезды, наряды, мишурный блеск светской жизни, не мог нравиться ее серьезной и глубокой натуре.

О Нетти, вернее, о счастье любимого брата, думала она сейчас гораздо больше, нежели о предстоящей ей самой перемене.

А, между тем, перемена в ее собственной жизни предстояла немалая.

Перед Ией неожиданно открывался новый путь, полный неожиданностей, непредвиденных случайностей, превратностей, а может статься, и многих разочарований.

Путь самостоятельного труда.

Глава III

Катя, босая, в одном легком ситцевом капоте, проворно сбежала со ступеней крыльца и быстрой птичкой порхнула в свой шалашик. Там царила полная полутьма, сладко пахло яблоками.

Они лежали правильными рядами на свежей подстилке из соломы.

Тут же стояла пустая корзина, приготовленная для сорванных плодов. Катя, отбросив назад то и дело спадавшую ей через плечо тяжелую косу, стала бережно укладывать яблоки в корзину.

Сердце девочки сжималось тоскою.

На глазах поминутно навертывались слезы.

Сегодня уезжает Ия. Бог знает, когда придется еще увидеть ее, – в сотый раз повторила мысленно в это утро девочка, в то время как ее загорелые руки бережно укладывали в корзину с соломой румяные сочные плоды.

Яблоки предназначались для Ии. Их вчера еще, когда все спали, черненькая Катя осторожно сняла с деревьев при лунном свете августовской ночи. Каким чарующим при этом свете казался ей задумчивый сад! И милые стройные яблоньки точно нежные призраки высились в его серебристом сиянии.

Вчера, занятая своим делом, Катя еще не грустила. Сбор

яблок и красота лунной ночи совсем поглотили ее.

Но сегодня все ее веселость и жизнерадостность исчезли бесследно. И острая тоска предстоящей разлуки мучила маленькую душу.

С тех пор, как начинает себя помнить Катя, ее жизнь была всегда тесно связана с жизнью Ии.

Старшая сестра постоянно трогательно заботилась о младшей. В раннем детстве Кати Ия являлась как бы ее покровительницей и няней. Она играла с нею, забавляла ее, умела рассказывать ей такие дивные сказки. А когда позднее приезжала на каникулы из института, то сама готовила в пансион младшую сестру. Она же знакомила ее впервые с русскими и европейскими классиками, учила всему тому, что знала сама, в то же самое время стараясь урегулировать несколько взбалмошную, чересчур живую натуру своей шалуны сестренки. Несмотря на такую маленькую разницу в годах между ними, Ия казалась много старше Кати.

Как часто Катя негодовала на Ию, называя ее в насмешку классной дамой и гувернанткой, как часто сердилась на нее за ее замечания и «нотации», на которые, по ее мнению, не скупилась Ия. Но в глубине души девочка не могла не сознавать, что более строгая и требовательная к ней, нежели их чрезвычайно добрая и мягкая мать, Ия права; и если и выскательна она к ней, Кате, то только из желания добра младшей сестре.

А теперь вот Ия уезжает, и Кате кажется, что никогда она

не любила сестру сильнее, чем в эти дни. Все последнее время она безропотно принимала замечания Ии, не дулась и не обижалась за них на сестру.

Неделю тому назад пришло письмо от знакомой Баслановых начальницы пансиона из Петербурга, куда Ия посылала прошение о принятии ее на должность классной наставницы.

Лидия Павловна Кубанская писала своей старой приятельнице Юлии Николаевне о том, что просьба о месте ее дочери пришла как раз кстати, что сейчас они нуждаются в хорошей наставнице, что должность классной дамы четвертого класса пустует, так как бывшая наставница больна, уезжает лечиться, и она рада принять Ию на ее место. Счастье как будто сразу улыбнулось молодой девушке. Заработок был найден. Оставалось только ехать в далекую, незнакомую столицу и поступить на место. Обливаясь слезами, Юлия Николаевна провожала дочь. Страх и волнение за Ию не давали ей покоя.

Доброй матери Ия казалась теперь бедным беспомощным ребенком, которого судьба забрасывала далеко-далеко от родной семьи.

Одно только примиряло Юлию Николаевну с предстоящей новой жизнью дочери – это то, что Ия попадала под крылышко к ее старой знакомой, с которой вместе училась сама госпожа Басланова когда-то в пансионе.

И пока черноглазая Катя бережно укладывала яблоки на дорогу сестре, Юлия Николаевна, с трудом удерживаясь от

слез, давала последние наставления старшей дочери:

– Июшка, голубка моя, береги ты себя хорошенько. Бог знает что за болезни, эпидемии разные бывают в Питере. Не приведи, Господи, заболеешь, – сейчас же к Лидии Павловне... За доктором пошлите, не запускай болезни... И потом, на улицах остерегайся... трамваи там на каждом шагу, ты не привыкла к движению, не приведи, Господь, несчастье случится!.. Каждый день о несчастных случаях пишут в газетах... Что будет тогда со мною, Июшка! Береги себя, голубка, береги себя!

По-видимому, спокойная по своему обыкновению, но глубоко затаившая в душе волнение, Ия целовала руки матери, стараясь утешить ее насколько возможно. Она обещала беречься, писать аккуратно обо всем, писать каждую неделю непременно.

К двенадцати часам к крыльцу крошечной усадьбы подкатила бричка.

Это работник арендатора «Лесного» предложил Баслановым свою лошадь проводить на пристань старшую барышню.

Это было значительно дешевле, нежели ехать поездом. От Рыбинска же до Петербурга приходилось прибегнуть к помощи железной дороги.

С громким рыданием обняла в последний раз Юлия Николаевна старшую дочь, покрыла ее лицо поцелуями и слезами, крестила ее дрожащей рукой, впиваясь в худенькое юное

личико Ии любящим взором.

– Пиши, Июшка, пиши!..

– Да, мамочка, непременно, родная...

– Ничего не скрывай... Ничего не таи... Обо всем, обо всем подробно пиши, моя деточка.

– Конечно, конечно, голубушка мама!

– Ия! Ия! Не забывай нас, пожалуйста!

Это Катя с залитым слезами личиком бросается на шею сестре.

Ия нежно освобождается из объятий матери и переходит в объятия сестренки. Катя горько плачет, целуя Ию.

– Из-за нее, из-за Нетьки противной, все шиворот-навыворот у нас теперь пойдет, – ворчит она, надувая губки.

– Андрюша любит Нетти... Она его жена, и мы должны тоже любить и уважать ее, – говорит печально-серьезно Ия.

– А я ее ненавижу. Противная! Зачем отняла у нас Андрюшу?

И черные заплаканные глазки Кати мечут искры негодования и гнева.

Последнее объятие... Последние поцелуи, и Ия вскакивает в бричку.

– Июшка... Ия! – Пожилая женщина и девочка с одинаковой стремительностью бросаются к уезжающей. Мать целует ее глаза, щеки, губы... Катя, вскочив на подножку, обвивает руками ее шею. И обе задыхаются от слез. Работница Ульяна, живущая около пятнадцати лет у них в усадьбе, пожилая

бобылка, утирает слезы передником и голосит, причитывая словно по умершему:

– Ба-ары-шня, ми-лень-ка-я. На ко-го ты нас по-о-оки-да-ешь, го-лу-бка си-и-и-за-я на-а-ша-а!

Но вот взмахнул кнутом работник арендатора, взяла с места пегая лошадка, и, визжа рессорами, покатила бричка.

– Пиши, Июшка, пиши! – долетало в последнем приветствии до ушей Ии, махавшей платком.

Точно железные тиски сжали сердце матери. Юлия Николаевна стояла, прислонясь к изгороди сада, и затуманенными глазами провожала бричку. Самые тяжелые, самые нелепые мысли шли ей на ум. Ей казалось, что она уже не увидит больше свою Ию. Что тысячи несчастий обрушатся на белокурую головку уехавшей дочери. Что, по крайней мере, десяток несчастных случаев уже предназначен для молодой девушки со стороны караулившей ее злодейки-судьбы.

Слезы непроизвольно катились по лицу старушки Баслановой, падали ей на грудь, смачивая ситец ее полинявшего капота. Вдруг что-то горячее и влажное коснулось ее бесильно повисшей руки.

– Катюша?

– Да, мамочка, это я. Ия уехала, я осталась. Ия просила меня побережь тебя. Пусть она работает и служит спокойно, наша Ия, а я будут утешать тебя. Все вы считаете меня еще маленькой глупышкой, я шалю и дурачусь – это правда, но... но я очень-очень люблю тебя, мамочка, и буду стараться не

огорчать тебя ничем. Через две недели я уеду в пансион в С., а пока я с тобою, ты увидишь, как проказница Катя умеет успокаивать и оберегать свою дорожную мамусю.

И ласкаясь, как кошечка, девочка обняла мать и повела ее в дом.

Растроганная участием и лаской младшей дочери, Юлия Николаевна постепенно перестала плакать.

Да и нельзя было долго предаваться отчаянию бедной вдове. Жизнь предъявляла свои требования. Жизнь не ждала. Не ждали и работы в маленькой усадьбе.

Необходимо было приниматься за них.

В тот же день огромный, как дом, волжский пароход уносил вверх по реке Ию.

Мелькали знакомые, дорогие сердцу картины.

Белые здания церквей и монастырей. Белые стены старинных русских городов. Бежали спокойные, величавые волны реки-царицы. Попадались навстречу огромные пароходы, плоты, буксиры, беляны.

Звучала красивая заунывно-печальная русская песня. Целая стая серых птиц носилась над пароходом. Пассажиры кормили их, бросая с палубы куски хлебного мякиша и булок. Резко кричали чайки, как бы посылая свою благодарность за пищу людям.

Ия стояла на палубе и смотрела в ту сторону, где находились по ее предположению родные «Яблоньки» и где – она ясно чувствовала это – грезила ею сидящая голова ее опе-

чаленной матери.

И только ночной августовский воздух прогнал ее в каюту. Но и тут прежде, нежели заснуть, молодая девушка долго и тревожно думала о тех, кто в это время, по ее расчету, ложился на отдых в далеких и милых сердцу «Яблоньках».

Глава IV

– Они все очень хорошие, чуткие и славные, и я уверена, вы скоро привыкнете к ним. Я укажу вам нескольких девочек, требующих особенно чуткого и внимательного к себе отношения: Маня Струева, Шура Августова и башкирка из уфимских степей, дочь оседлого бека, Зюнгейка Карач, да еще Ева Ларская, пожалуй, с этими четверьмя воспитанницами вам придется немного повозиться.

Говоря это, еще молодая и красивая девушка лет двадцати семи, с прозрачно-бледным лицом и большими черными глазами, особенно ярко горевшими на худом с выступавшими скулами лице, улыбнулась Ие ласковой, немного искаженной улыбкой. И усиленный неестественный блеск глаз, и чрезвычайная худоба и бледность Магдалины Осиповны Вершининой подчеркивали присутствие разрушительной и беспощадной болезни в этом молодом организме. А частый удушливый кашель, разрывавший каждые десять минут впалую грудь девушки, еще более подтверждал наличие злейшего недуга.

У Ии, приехавшей в частный пансион госпожи Кубанской час тому назад прямо с вокзала железной дороги, сердце разрывалось от жалости при виде этой крайне симпатичной наставницы, обреченной на раннюю гибель. Красивое печальное лицо чахоточной, глубокие, запавшие добрые гла-

за, бледная, как будто извиняющаяся улыбка и две тяжелые черные косы, спущенные просто как у подростка вдоль спины, – все это сразу привлекало к ней, невольно будило симпатию, а главное – глубокое сочувствие и жалость.

Должно быть, Магдалина Осиповна прочла выражение этого сочувствия в серых глазах Ии, потому что легкая краска залила ее бледные щеки, и она проговорила своим слабым глуховатым голоском:

– Да... вот, заболела некстати... Сил совсем нет. И кашель, и головные боли. Прически даже как следует сделать не могу. Вот еду через неделю в Ялту к дяде. Говорят, Крым делает чудеса в таких случаях. Да и тянет меня самоё, знаете, к южному солнцу. Холодно и сыро здесь. Как лист дрожу по ночам от лихорадки. Ждала вас, только чтобы уехать. Тетя с дядей живут у меня безвыездно в Ялте. Буду у своих. И лечение, и уход прекрасный. Отчего бы и не поправиться? – неожиданным вопросом заключила она свою речь.

– Поправитесь, поправитесь, конечно, – поспешила успокоить ее Ия, но сама она плохо верила в это утешение.

– Пожалуйста к госпоже директрисе, она только что вернулась и просят вас к себе, – просовывая голову в дверь приемной, где Ия разговаривала со своей предшественницей, доложила франтоватая горничная.

Лидия Павловна Кубанская встретила Ию на пороге своей гостиной. Это была маленького роста, худенькая, сухая дама лет пятидесяти пяти.

От ее невзрачной фигурки и некрасивого желтого лица веяло светской любезностью, корректностью и некоторым холодком.

– Очень рада, очень рада приветствовать у себя дочь моего большого друга Julie, – пропела она, любезно улыбаясь и протягивая навстречу Ие свои маленькие, сплошь унизанные кольцами руки с синими выпуклыми на них жилками и тщательно отделанными ногтями. – Но, Боже мой, как вы еще молоды! – поспешила прибавить она с тою же любезной улыбкой, таившей за собой несомненную долю разочарования. – Ну как вы, такая юная, справитесь с девочками, которые будут на какие-нибудь два или три года моложе вас?

Услыша эти слова начальницы, Ия заметно побледнела.

«А вдруг она не возьмет меня? Вдруг откажет от места? Что тогда делать? Куда деваться?» – быстрой молнией пронеслась жуткая мысль в ее голове.

Но она успокоилась сразу, когда заметившая ее испуг Лидия Павловна заговорила снова:

– Вам будет, конечно, немного трудно первое время, милая Ия Аркадьевна, так, кажется, вас зовут? Не хочу скрывать от вас, что ваши будущие воспитанницы очень избалованы Магдалиной Осиповной, вашей предшественницей.

M-elle Вершинина – милейшее существо в мире, это ангел доброты и кротости, весь пансион буквально боготворил ее. Но... должна сознаться, благодаря этой-то своей исключительной доброте она несколько распустила детей. Четвертый

класс (ваше отделение) шаловлив не в меру и шумен. Вам придется приложить много усилий со своей стороны, чтобы снова вдвинуть в русло эту временно выступившую из берегов чересчур разбушевавшуюся реку. Но... но я уверена, что ваш ум и врожденная тактичность помогут вам в этом. А теперь попрошу вас пройти в класс познакомиться с вашими воспитанницами. Я уже просила Магдалину Осиповну помочь вам. *Vonne chance!*¹ И, пожав руку Ии, Лидия Павловна с любезной улыбкой отпустила ее.

Урок в четвертом классе только что кончился. Учитель географии, худощавый, среднего роста господин в длинном сюртуке, проворно сошел с кафедры и, мимоходом поклонившись воспитанницам, быстрым шагом вышел из класса. В тот же миг дежурная по отделению Таня Глухова вбежала на кафедру, схватила обеими руками длинный и плоский классный журнал и прочла звонким резковатым голосом:

– Мордвиновой Мире – 12.

– Ворг – 7.

– Августовой – единица.

– Леонтьевой – 6.

– Недурные отметки, нечего сказать! – протянула она насмешливым голосом.

– Единица? За что мне единица? *Masdames*, что за свинство! Лепешка мне единицу клеил без всякого спроса! – хорохорилась миловидная шатенка с вздернутым носиком и

¹ Желаю успеха.

высоко приподнятой «заячьей» губой.

– Это за невнимание. Ты помнишь, он спросил притоки Днепра с места, а ты молчала. Ну, вот, – предупредительно пояснила черненькая девочка с тяжелой ниже пояса густою косой.

– Да как он смеет? Я ему за единицу такой бенефис закачу, – продолжала, волнуясь и возмущаясь, Августова.

– Надо было внимательнее слушать – не было бы единицы! – иронически произнесла Таня Глухова, пожимая своими широкими, сутуловатыми плечами.

– Это уж мое частное дело – слушать внимательно или вовсе не слушать, и без замечаний, je vous prie! – дурачилась и комически раскланивалась перед нею Шура, гримасничая, как обезьянка.

– Шура, Шуренок, представь Лепешку, представь! – слышались вокруг девочки веселые голоса.

– Ну нет, милые мои, вот где сидит у меня ваш Лепешка, – и ребром правой руки Августова слегка ударила себя пониже затылка.

– Mesdames, новая классная дама идет. И Магдалиночка с нею! Мо-ло-день-кая! – врываясь в классную дверь, зашептала маленькая худенькая девочка лет тринадцати с растрепанными пепельными волосами и ямками на щеках. Маня Струева, «премьерша от шалостей» 4-го класса, по общему отзыву пансиона.

– Идут! Идут! – выскакивая откуда-то из-за двери следом

за Маней, в голос кричала невысокая, плечистая, ширококостная брюнетка с некрасивым лицом калмыцкого типа и резко обозначенными монгольскими скулами.

Черные узенькие монгольские же глазки Зюнгейки Карач так и сверкали, так и искрились неисчерпаемым источником любопытства, а широкий рот растягивался чуть не до ушей, обнажая в улыбке ослепительно белые зубы.

– Идут! Идут! – вопила она истошным голосом, пулей влетая в класс.

– Молчи, Зюнгейка, не кричи. Опять неприятности будут. Я дежурная и должна останавливать вас всех.

Не успела Таня Глухова договорить своей фразы, как на пороге класса появилась Ия в сопровождении Магдалины Осиповны.

– Милые мои девочки, – начала своим слабым глухим голосом Вершинина, – я привела к вам вашу новую наставницу Ию Аркадьевну Басланову, которая заступит мое место. Вы видите, какая она молоденькая, какая милая, – со своей обаятельной улыбкой добавила Магдалина Осиповна, – и ей будет нелегко справиться с таким шумным, шаловливым народцем. Но у каждой из вас, я это знаю твердо, бьется в груди чуткое, восприимчивое сердечко, и вы должны помочь вашей новой классной даме своим добрым отношением к ней. Ведь Ия Аркадьевна сама окончила институт только этой весной, и, следовательно, ей гораздо доступнее, нежели другой пожилой наставнице, все ваши юные переживания и

интересы. Она в этом отношении гораздо более подходит к вам, нежели я, и...

– Нет, – неожиданно послышался чей-то резкий голос из толпы воспитанниц, – нет, вас нам никто не заменит, и никто не может более вас подойти к нам.

И девочка, несколько минут тому назад возмущавшаяся несправедливостью географа Лепешки, поставившего ей единицу, выступила вперед и вызывающе уставилась в лицо Ии дерзкими синими глазами.

– Перестань, Шура, – тихо остановила ее смутившаяся Магдалина Осиповна, – разве можно так говорить?

– А разве нельзя говорить правду? Ведь m-elle Басланова сама отлично сознает, что она не может быть нам особенно желанной уже по одному тому, что является вашей заместительницей! – И новый взгляд, еще более вызывающий, с легкой примесью насмешки, полетел по адресу Ии.

Последняя стойко выдержала его.

– Так похвально, что вы любите вашу уважаемую наставницу, – произнесла спокойным голосом Ия, переходя взглядом с одного лица на другое толпившихся вокруг нее и ее спутницы пансионеров, – и мне остается только радоваться, что я буду иметь дело с такими чуткими и привязчивыми натурами, – скрепляя улыбкой свои слова, заключила она.

– Старайтесь привыкать скорее к Ие Аркадьевне, – продолжала снова Вершинина, – через неделю я уеду...

– Через неделю?.. Уже? Так скоро? Но это невозможно! –

послышались испуганные голоса.

– Магдалиночка, ангел, солнышко, божество, Аллах мой!

И черненькая Зюнгейка, со свойственной ей одной стремительностью, энергично растолкала подруг и упала к ногам Вершининой, обвивая смуглыми руками ее колени.

– Что ты! Что ты, Карач! – почти испуганно вскричала молодая наставница.

– Нет, нет, не мешайте мне, вы – Аллах мой, вы ангел его садов, вы моя жизнь! – страстно сорвалось с губ юной башкирки, и она покрывала поцелуями и слезами платье и руки Вершининой.

За смуглой Зюнгейкой заплакали и другие. Потянулись за носовыми платками в карманы дрожащие руки. Послышались всхлипывания, сморканье, прерывающийся от волнения шепот.

– Не уезжайте от нас, дорогая, милая, солнышко наше, мы так любим вас! – слышались взволнованные вздрагивающие голоса.

Магдалина Осиповна совсем растерялась. Сильные руки Зюнгейки обнимали ее дрожащие колени так крепко, что молодая девушка, колеблемая этим энергичным объятием, едва могла устоять на ногах.

Маленькая Маня Струева, казавшаяся восьмилетним ребенком благодаря своему крошечному росту, успела принести стул, вскочить на него позади Магдалины Осиповны и, обняв ее шею руками, осыпала непрерывными поцелуями

черную, гладко причесанную голову классной наставницы. Кто-то схватил одну косу общей любимицы и тянул ее к себе, стараясь достать до нее губами. Другую косою завладела Шура Августова и нежно проводила концом ее по своему разгоревшемуся лицу.

– Милые мои девочки... славные мои... малютки мои... Ну как я вас оставляю... как покину вас? Ия Аркадьевна, будьте к ним добры, вы видите, что за чуткие, что за драгоценные сердца у этих детей, – обращаясь к своей заместительнице, едва найдя в себе силы, произнесла Вершинина и вдруг сильно и продолжительно закашлялась от подступивших к ее горлу рыданий.

Теперь, задыхавшаяся в остром пароксизме волнения, Магдалина Осиповна вся дрожала, как лист. Ее ноги подкашивались, плечи вздрагивали. А кругом нее теснились плачущие девочки, еще больше усиливавшие ее волнение своими слезами.

Ия была единственным спокойным человеком среди этой так элегически настроенной толпы. И как всегда трезвая и здоровая по натуре, враг сентиментальностей и всяких бесполезных волнений, она, возвысив голос, обратилась к окружающим ее воспитанницам:

– Ну, дети, довольно! Вы видите, как ваши слезы вредно действуют на вашу наставницу, как нервируют ее... Перестаньте же плакать. Магдалине Осиповне и так нелегко расставаться с вами. Не надо же усугублять ее горе. Иногда

приходится сдерживать себя, стараться не показывать своего волнения, когда это является во вред другому. Магдалина Осиповна, голубушка, вам нехорошо? Разрешите напоить вас водою. Может быть, вы пройдете отдохнуть немного? Я вас отведу.

И, энергично взяв под руку Вершинину, Ия вывела ее из кружка толпившихся воспитанниц и повела в коридор.

Лишь только обе девушки скрылись за дверью, слезы пансионерок прекратились сами собой... Мало-помалу затихли всхлипывания, попрятались платки, исчезая в карманах коричневых форменных платьев. Но потребность вылить так или иначе накопившуюся боль и горечь еще не миновала у девочек.

– Вот так штука, нечего сказать! – первая, приходя в себя, произнесла недовольным голосом Маня Струева. – Чуткости ни на волос, то есть ни-ни... Мы плачем по Магдалиночке нашей, а она нотации, видите ли, читает.

– Идол бесчувственный! – всхлипывая, выпалила башкирка.

– Из молодых да ранняя! – вставила Шура Августова.

– Да неужели же ей, mesdames, только семнадцать лет? – прозвучал чей-то удивленный голос.

– А вы заметили, какие у нее губы? Злые, тонкие, и улыбается она как-то странно.

– А все-таки она прехорошенькая... Этого отнять нельзя.

– Ну вот еще! Ничего хорошего нет абсолютно.

– Волосы ничего себе еще. А глаза, как у змеи, так и жалят насквозь.

– Ведьма она! Ненавижу таких. Воображаю, как нам легко будет с нею после ангела нашего Магдалины Осиповны!

– Mesdames, слушайте: в память Магдалиночки все мы обязаны игнорировать эту противную, холодную Басланову. Совершенно не сближаться с нею. И первая, кто будет нежничать с нею, – изменит нашей бедной дорогой Магдалиночке... – пылко заключила Шура.

– Августова, ступай сюда к Зюнгейке. Зюнгейка хочет целовать тебя за такие слова, – и непосредственная, порывистая башкирка бросилась на шею Шура.

– И так, mesdames, помните, первая из нас, пожелавшая войти в дружеские отношения с этой черствой, сухой Баслановой, становится врагом класса. Все ли поняли меня? – И Маня Струева энергично потрянула своей всегда растрепанной головкой.

– А я, представь себе, Струева, не поняла тебя, ни тебя, ни твоих единомышленников, – произнесла высокая, худая девушка в очках, казавшаяся много старше ее четырнадцатилетнего возраста Надя Копорьева, дочь инспектора классов частного пансиона Кубанской, – представьте, не могу и не хочу вас понять. Чем заслужила такое отношение с вашей стороны такая классная дама?

– Копорьева, что с тобою? Как ты можешь идти одна против класса? Ведь это измена Магдалиночке! Заступаясь за

эту противную Басланову, ты доказываешь только то, что никогда не любила и не любишь нашего ангела Вершинину, – слышались протестующие голоса.

– Ничего подобного это не доказывает, mesdames, – спокойно проговорила Надя, и ее карие близорукие глаза блеснули под стеклами очков. – Нельзя обвинять человека, строя свои обвинения на одной внешности обвиняемой.

– Обвинения, обвиняемая, Философия Ивановна и всякие мудрые разглагольствования, – закричала со смехом Маня, – как ты можешь пускаться в такие скучные рассуждения, Копорьева? И откуда это берется у тебя, профессорша ты и ораторша хоть куда!

– А по-моему, Копорьева совершенно права, и вы все поступаете довольно-таки неостроумно тем, что, не узнав хорошенько человека, сразу объявляете ему войну.

И очень бледная, болезненного вида девочка с короткой косичкой и нервным лицом, на котором выделялись своим упорным и совершенно не детским взглядом светлые выпуклые глаза, выступила вперед. Это была племянница одного известного государственного деятеля и сановника, девочка, непрерывно менявшая учебные заведения столицы, так как она не была в состоянии удержаться подолгу ни в одном из них.

Ева Ларская, ленивая и беспечная по натуре, избалованная до последней степени благодаря своей болезненности, а главное – высокому положению своего дяди, была и здесь, в

пансионе Кубанской, на исключительном счету.

Она из свойственного ее натуре упрямства всегда старалась быть не солидарной со своими товарками и оставалась при «особом мнении», как о ней говорили, во всех предприятиях и затеях. Взбалмошная и экстравагантная, кумир семьи, сделавшей ее таковою, Ева любила оригинальность, любила слыть особенной, тем более, что и в пансионе с нею носились не менее, чем дома. Она была любимицей дяди-сановника, игравшего большую роль среди женских гимназий, и многое, что не простилось бы другой воспитаннице, простилось начальством Еве Ларской.

В классе она не дружила ни с кем. Надменная, гордая девочка считала других воспитанниц ниже себя по положению. И воспитанницы в свою очередь недолюбливали Еву. Ее прозвали в насмешку «сановницей». Но эта кличка не обижала, по-видимому, девочку, напротив, она принимала ее как должную дань.

Ей нравилась одна только Маня Струева, веселая, жизнерадостная, остроумная тринадцатилетняя девочка, казавшаяся малюткой благодаря своему крошечному росту.

Впрочем, Маню, добрую и веселую проказницу, любил весь пансион. Ее шалости были так же невинны, как были невинны ее светлые голубые глазки.

Сейчас она выбежала вперед, очутилась в центре кружка своих подруг-одноклассниц и быстро, быстро заговорила:

– Конечно, Ева по-своему права... и Надя Копорьева то-

же... Нельзя презирать Басланову за то только, что у нее строгие глаза, холодное лицо и что она является заместительницей Магдалиночки. Ведь Магдалина Осиповна должна была бы уйти все равно от нас... И нам дали бы другую классную даму... Но... но... вы видели, как смотрела на нас эта строгая девица? Каким великолепным взглядом высокомерного презрения окидывала она всех нас, пока мы ревели тут все, как белуги, оплакивая нашего кроткого ангела? И этого взгляда я ей не прощу во веки веков. Аминь! – заключила Маня, потрясая для чего-то своими крошечными кулачками.

– И я!

– И я также!

– И я! Все мы! Все мы! – слышались отовсюду волнующиеся громкие голоса.

– Не говорите за всех, дети мои! – произнесли бледные бескровные губки Евы. – Я, например, не только не собираюсь не прощать чего бы то ни было m-elle Баслановой, но напротив того, хочу быть ее покровительницей и защитницей. И ты, Надя, надеюсь, тоже?

– Да, да, – подтвердила высокая девочка в очках.

– Профессорша и сановница заключили трогательный alliance (союз), – смеясь звонко, выкрикивала маленькая Струева. – Vive la наука! Vive la аристократия! Мира, как это будет по-французски – переведи!

– Оставьте меня в покое, или вы не знаете, что я всегда

держу нейтралитет, – отвечала спокойная симпатичная брюнетка Мира Мордвинова.

– Mesdames, батюшка идет! По местам! – кричала, надрываясь, дежурная Таня Глухова И почти в тот же миг на пороге класса появился молодой белокурой священник с лицом аскета, в лиловой рясе и с академическим значком на груди.

Вместе с ним в отделение четвертого класса вошла Ия. Девушка успела успокоить Магдалину Осиповну, уложить ее в постель и теперь, вернувшись в класс, заняла предназначенное ей место классной дамы за маленьким столиком у окна.

Пока отец Евгений вызывал пансионерок, прослушивал их ответы и объяснял заданное к следующему уроку Закона Божия, Ия могла, хотя бы с внешней стороны, познакомиться со своими будущими воспитанницами.

Ее зоркие, пронизательные глаза самым подробным образом изучали сидевших за партами девочек.

Их было двадцать человек. И все эти двадцать, за малым разве исключением, отвечали новой наставнице довольно недоброжелательными взглядами. В глазах некоторых воспитанниц Ия прочла как будто даже какую-то затаенную угрозу. У иных – насмешку. Некоторые из пансионерок смотрели на нее с откровенным вызовом. Другие с любопытством. Но Ия не смутилась. По крайней мере, ничем не выдала своего смущения. Только темные брови ее нахмурились, а серые, «строгие», как их называли пансионерки, глаза, встретив чей-нибудь чересчур откровенно неприязнен-

ный взгляд, становились еще строже.

Легкий, чуть заметный вздох вылетел из груди девушки. «Да, нелегко мне здесь будет, – подумала Ия, – слишком очевидно влияние на детей этой мягкой, избаловавшей их бедняжки Вершининой. Придется много потратить энергии и сил, прежде чем удастся исправить то, что посеяла эта невольной навредившая им Магдалина Осиповна, совсем не подходящая к роли воспитательницы и классной дамы».

Так думала Ия, продолжая незаметно наблюдать за своей маленькой паствой.

Первые же шаги ее здесь, в пансионе, не обошлись без инцидента. Отец Евгений объяснял воспитанницам таинство крещения, заданное к следующему уроку. Пансионерки слушали. Но далеко не все слушали с одинаковым вниманием. Шура Августова, вынув из ящика пюпитра узкую полоску канвы, самым спокойным образом вышивала по ней крестиками какие-то замысловатые узоры.

Ия бесшумно поднялась со своего места и приблизилась к Шуре.

– Оставьте вашу работу. Мне кажется, что такое занятие далеко не своевременно на уроке Закона Божия, – спокойно проговорила она.

Лицо Шуры приняло неприязненное выражение. Быстро поднялись на Ию вызывающие, дерзкие глаза.

– А Магдалина Осиповна нам разрешала иногда работать, пока поясняет заданное господин преподаватель, – отвечала

резким голосом Августова.

– Магдалина Осиповна была слишком снисходительна к вам, – неосторожно сорвалось с губ Ии, – но это еще не значит, что то, что разрешалось ею, должна позволять вам я.

– Она была ангел! – с многозначительным вздохом произнесла, подчеркивая, Шура.

– Но вашу вышивку вы все-таки спрячьте в стол, – неумолимым тоном заметила Ия и в упор взглянула в устремленные на нее с вызовом глаза девочки. Потом тихо повернулась и медленно и неслышно пошла на свое место.

– Ну и характерец! – зашептала Таня Глухова соседке Шура.

– Ведьма! – безапелляционно решила сидевшая впереди них Маня Струева.

– Да, жаль Магдалиночку... прошли наши красные дни, – со вздохом роняла Шура, неохотно пряча злополучную вышивку в стол.

Звонок, прозвучавший в эту минуту в коридоре, дал новое направление мыслям воспитанниц.

Урок Закона Божия кончился. Наступало время обеда. Дежурная прочла молитву. Отец Евгений благословил воспитанниц и вышел из класса, столкнувшись в дверях со спешившей в свое отделение Вершининой.

Глаза чахоточной наставницы блестели еще сильнее после недавних слез, а два предательских пятна ярче рдели на ее выдающихся вследствие худобы скулах.

Заметно было, что весь этот час Магдалина Осиповна проплакала.

– Магдалиночка! Магдалиночка! Ангел наш! Золото! Радость! – зазвучали снова взволнованные голоса, и девочки бросились к ней со всех сторон, окружили ее и беспорядочной толпою повели из класса в столовую.

Напрасно сама Вершинина взывала своим надломленным голоском:

– В пары, дети! В пары! Становитесь в пары! Так нельзя! Лидия Павловна будет недовольна беспорядком...

Но никто не слушал ее. Смех и поцелуи звучали ей ответом на эти слова.

Ие оставалось только следовать в немом молчании за девочками и их любимицей.

Невесело было на душе молодой девушки. То, что предчувствовала Ия с первой минуты ее появления здесь, являлось теперь неоспоримую истиной. Да, много забот, неприятностей и осложнений принесет ей ее новое поприще!

И эта кроткая, мягкая Магдалина Осиповна своей слабостью и чрезмерной доброю с воспитанницами еще усугубляла и без того нелегкое положение Ии; она уже одним своим присутствием разжигала невольную антипатию девочек к их новой, более энергичной и требовательной воспитательнице. И с этим явлением Ия решила бороться до последних сил.

Глава V

– Как, разве у вас нет отдельной комнаты?

– Зачем мне она? Я так привыкла к постоянному общению с моими детками. Я бы соскучилась провести без них целую ночь.

– Но ночью они все равно не могут пользоваться вашим обществом. Ведь они спят.

– Я не могу допустить мысли, чтобы они спали вдали от меня. Я должна слышать их сонное дыхание, их лепет. Наконец, многие из них такие нервные, болезненные, многие боятся ночной темноты и тишины, а я прихожу успокоить их, просиживаю с ними долгие часы, пока они засыпают при мне.

– Но разве... – Ия начала и запнулась на полуфразе.

Чуткость и врожденная деликатность не позволяли ей подчеркивать больной Вершининой того ужасного упущения, которое допускалось ею. Не могла же сказать Ия Магдалине Осиповне, что чахотка заразительная болезнь и что спать чахоточной больной со здоровыми юными созданиями в одной комнате по меньшей мере непредусмотрительно в смысле заразы, не говоря уже о злейшем кашле, который, разрывая грудь больной каждые четверть часа, не может способствовать спокойному отдыху ее воспитанниц в ночное время.

Обе они, и бывшая, и настоящая наставницы, стояли теперь в углу дортуара, отгороженном широкими ширмами от остальной большей части помещения, уставленного двумя рядами узких кроватей. Здесь за ширмами было так же шумно, как и там, в общей части дортуара. Каждое слово воспитанниц, произнесенное даже вполголоса, долетало сюда. А Ия так мечтала иметь свой отдельный уголок, свою особую комнату!.. Но умевшая легко мириться с мелочами жизни, она успокоилась и сейчас. К тому же из окна (какая радость, что здесь было окно, в ее уголку за ширмами!) открывалась чудесная картина на темный город, переплетенный гирляндами огней, на черную в этот августовский вечер со вздувшейся осенней поверхностью Неву, на таинственно замолкший сад, окружавший полукругом эту часть здания.

Частный пансион Кубанской находился на одной из отдаленных окраин города. Здесь Петербург не казался шумной европейской столицей; здесь он скорее напоминал провинцию, и Ия, не любившая шума и суеты, с удовольствием отметила это.

Теперь она стояла у окна, устремив глаза в звездное бархатное небо. Золотые глаза планет ласково мигали сверху. Внизу тихо шелестел деревьями ветер. Через открытую форточку до нее долетал этот шум, смешиваясь с осенним ропотом реки.

Ия смотрела в окно и думала о своих. Что-то поделывают они сейчас, ее мать и веселая шалунья Катя?

Уезжая, она так настойчиво просила Катю побережь мать. Исполнит ли Катя эту ее просьбу? Сейчас, наверное, они обе сидят за чайным столом. Работница подала самовар. Принесла вкусный варенец с желтой пеночкой. Парное молоко, домашние коржики и ржаные лепешки стоят на столе. Но никто не прикасается к ним. Мать думает о ней, Ие, занесенной судьбою так далеко, далеко от них. И, может быть, плачет... а Катя утешает. Она бывает иногда серьезной и чрезвычайно милой, эта маленькая Катя!

– Мама, милая, не плачьте, – хочется крикнуть Ие так громко, чтобы в далеких «Яблоньках» могли услышать этот крик, – я вернусь к вам при первой же возможности. Я буду стараться откладывать каждый грош на дорогу. Ведь летом в пансионе занятий нет. Я возьму какую-нибудь переписку на летние каникулярные месяцы и прилечу к вам, мои дорогие.

Эта мысль так воодушевляет девушку, что первые невзгоды ее здесь, в этом чужом ее душе пансионе, забываются ею сразу. И улыбка трогает редко улыбающиеся губы.

Но вот Ия вздрагивает от неожиданности. До ее уголка доносится веселый смех, шум, возня, шаловливые взвизгивания и слабый голос Вершининой, умоляющий о чем-то. Вмиг отлетели далеко от белокурой головки Ии сладкие грезы. Она быстро выходит из-за ширм и видит: по дортуару несется неуклюжая, широкоплечая Таня Глухова. За нею безудержной стрелой летит маленькая Струева. Руки Мани покрыты мыльной пеной. Лицо оживлено. Она громко и ве-

село кричит на всю спальню:

– Держите ее, mesdames, держите! Не пускайте, не пускайте! Я должна намылить ее хорошенько за то, что она...

– Ай... ай... Не смей меня трогать, Манька, – визжит в свою очередь Таня, – не позволяйте ей трогать меня, mesdames. Это не я ей мешок сделала, это Зюнгейка.

– Я?

До сих пор молчаливо заплетавшая волосы в бесчисленное множество черных косичек башкирка вдруг вскакивает с табурета, на котором она только что смиренно сидела подле своей кровати, и несется навстречу Тане.

– Я покажу тебе, как клеветать на бедную Зюнгейку! – кричит она, мешая свои слова со звонким смехом. Остальные пансионерки неудержимо хохочут. Одни стоят за Таню. Другие за ее преследовательниц. Шум в дортуаре делается невообразимым.

Напрасно Магдалина Осиповна выходит из себя, призывая к спокойствию.

– Тише, дети! Нельзя же так! Уже поздно, пора спать! Ради Бога, тише, или я потушу электричество. Но ее никто не слушает. Крики, визг, хохот и возня все растут, усиливаясь с каждой минутой. Магдалина Осиповна повышает голос. И вот ее грудь снова начинает разрывать кашель. Чем больше волнуется она, тем сильнее делается этот кашель. Лицо молодой девушки становится багрово-красным от напряжения и боли. А шум вокруг нее не утихает и смех не умолкает ни

на минуту.

Сердце Ии сжимается острой болью жалости, когда она, повышая голос, обращается к пансионеркам:

– Перестаньте же шуметь, mesdemoiselles! Или вам не жаль Маргариты Осиповны? Смотрите, она задыхается в бесполезном старании унять вас!

Эти слова словно холодной водой обдают шумевших девочек. Мгновенно обрывается смех и крики. И четыре десятка глаз, карих и серых, синих, и голубых, и черных, устремляются на непрощеную заступницу с плохо скрытой недоброжелательностью и откровенной враждою.

Однако в дортуаре все же водворяется полная тишина. С легким ропотом неудовольствия сбрасываются черные передники и коричневые форменные платья воспитанниц. Кое-кто из девочек успел уже улечься под жидкое одеяло, В уголке, у своей постели, присев на корточки, Зюнгейка совершает вечернюю молитву, накрывшись с головой темной шалью и повернувшись лицом в ту сторону, где должен быть восток. – Алла верды! Алла верды! (Господи, помилуй!) – жалобно шепчет башкирка.

Наконец затихает и этот шепот. Где-то раздается протяжный зевок.

– Не проглоти меня, Шурочка, эк рот разинула, как акула! – слышится звонкий шепот Мани Струевой.

– Хи-хи-хи!

– Спать, mesdemoiselles! И чтобы не было больше разго-

воров!

Может быть, Ие не следовало произносить эту фразу таким уж чересчур энергичным тоном? В следующую же минуту она подумала об этом, потому что откуда-то из дальнего угла тихо и выразительно понеслось по ее адресу:

– Рады стараться, ваше превосходительство!

Тем же самым звонким шепотом, каким только что делалось сравнение с акулой.

Снова сдержанно хихикнули в двух-трех местах... Но Ия предпочла не обращать на это внимания. Быстро повернула она выключатель, и в тот же миг дортуар погрузился в темноту.

Теперь только бледный, призрачный свет луны, прорывавшийся сквозь белую штору, освещал комнату. Да за зеленым тафтяным переплетом ширмы горела лампа, бросая свою долю освещения на огромную спальню.

За ширмой то и дело раздавался глухой и протяжный кашель. Когда Ия прошла в свой уголок, она увидела Магдалину Осиповну, лежавшую уже в постели. Две черные косы, длинные, как змеи, бежали вдоль тела девушки. А бледное лицо спорило своей белизною с белизною подушки, на которой покоилась черненькая головка больной. Вершинина держала в руках книгу, но читать она не могла. Кашель, поминутно разрывавший ей грудь, мешал несчастной девушке углубиться в чтение. Под этот неприятный аккомпанемент Ия разделась и легла в находившуюся тут же другую постель,

предназначенную для нее. Она так нынче устала от долгого пути и постоянной смены впечатлений. Глаза ее слипались. Голова туманилась от сонных грез, но каждый раз, когда раздавался кашель Магдалины Осиповны, Ия, начиная уже забываться, вздрагивала всем телом и через силу поднимала отяжелевшие веки.

– Невозможно спать! Бедные дети! Как они могут выносить эту музыку? – невольно в сотый раз спрашивала себя Ия.

Наконец ей кое-как удалось забыться. Она заснула. Ей снились далекие, милые сердцу «Яблоньки», Катя, мать... Вдруг чуткое ухо уловило не то смех, не то рыдание, раздававшееся подле. Не открывая глаз, Ия прислушалась.

– Нет, нет, аллах мой, не приказывайте Зюнгейке любить чужую, новую. Раньше, чем это могло бы случиться, Зюнгейка умрет! – расслышала она с трудом прерывающийся шепот. И второй голос, чуть слышный, глухой ответил таким же шепотом:

– Перестань говорить глупости, Зюнгейка, ты же большая девочка! И если хочешь сделать мне удовольствие, то ты должна любить, уважать Ию Аркадьевну, так же как уважала меня.

– Никогда! – пылко вырвалось из груди юной собеседницы Вершининой, и она зашептала так скоро, что Ия, окончательно проснувшись, едва успевала улавливать ее слова: – Аллах мой, сердце мое, не отнимай от Зюнгейки твоих чуд-

ных кос, – переходя на ты, говорила молодая степнячка. – Зюнгейка хочет целовать их и обливать слезами. Не мешай плакать Зюнгейке. Не одна она плачет, все мы плачем по тебе. Пройдет еще день, еще день и еще день. Семь раз взойдет на небе месяц, на восьмую ночь не увидим мы нашей Магдалиночки. Далеко на синее море уедет от нас Магдалиночка наша, алмаз наш, звездочка небесная, и останемся мы, сиротки, одни...

Тут Зюнгейка не выдержала и зарыдала.

Вместо того, чтобы утешить девочку, Магдалина Осиповна заплакала тоже. Теперь больная наставница и воспитанница рыдали неудержимо одна в объятиях другой. В тот же миг послышались за ширмой и другие тревожные голоса:

– Кто плачет? Mesdames, это Магдалиночка. Идем к ней утешать ее! Бедная Магдалиночка, милая Магдалиночка! – и одна за другой, босые, в длинных белых рубашках, пансионеры повскакали со своих постелей и устремились в уголок за ширмами. Чья-то проворная рука повернула выключатель, и в дортуаре стало сразу светло. В ногах постели Вершининой, сжавшись в комочек и обвивая руками ее худенькие ноги, лежала рыдающая Зюнгейка Карач.

А в отверстие ширм одна за другой пролезали небольшие белые фигурки в ночных туалетах. С озабоченным видом окружали они постель Вершининой и забрасывали последнюю тревожными вопросами:

– Магдалиночка, солнышко наше! Вам худо? О чем вы

плачете? Боже, эта глупая Зюнгейка опять расстроила вас?

Кое-кто уже плакал под шумок, Кто-то из девочек опустился на холодный пол голыми ногами и, присев у постели Магдалины Осиповны, покрывал ее лицо и плечи поцелуями. Целым градом исступленных поцелуев.

Ия, возмущенная и взволнованная всем этим шумом, взглянула на часы. Было два. Глухое раздражение против бестактности и несообразительности ее предшественницы закипало в груди девушки. Эти несвоевременные сцены ночью, не дававшие покоя другим и пропитанные вредной сентиментальностью, окончательно рассердили ее. Но, привыкшая владеть собою, молодая девушка сдержалась и на этот раз и, насколько могла спокойно, обратилась к Вершининой:

– Мне кажется, было бы лучше, если бы вы отослали детей спать. Завтра с утра у них уроки, и они не успеют хорошенько выспаться. Да и вам, я думаю, нужен отдых.

При первом же звуке ее голоса Магдалина Осиповна повернула к ней свое кроткое, залитое слезами лицо.

– Но что я могу поделать? Эти добрые, милые крошки так любят меня, – произнесла она своим слабым, всегда точно извиняющимся голосом.

– Да, но любовь их к вам не уменьшится от того, если вы будете спать спокойно ночью, – смягчая свои слова улыбкой, отвечала Ия.

– Язва! – шепнула Шура Августова Мане Струевой.

– Изверг! – чуть ли не в голос взвизгнула Зюнгейка.

Легкая краска залила бледные щеки Вершининой. Она только сейчас поняла, что сентиментальная сцена, разыгранная ночью, мешает спать ее уставшей соседке. И, смущенная, она проговорила:

– Простите ради Бога, Ия Аркадьевна, мы, кажется, разбудили вас. Я сейчас оденусь и уйду с ними. А вы спите, пожалуйста, не обращайтесь на нас внимания.

«Не обращайтесь на нас внимания»... Хорошо ей было говорить это! Но могла ли спокойно уснуть Ия, когда мысль о том, что двадцать девочек встанут на утро с тяжелыми от бессонницы головами и рассеянно, невыспавшиеся и уставшие, примутся за обычные занятия? К тому же свет электричества, ярко освещавшего дортуар, звонкий шепот собеседниц, частые восклицания и громкие поцелуи, которыми воспитанницы щедро наделяли всеобщую любимицу, решительно не позволяли Ие забыть ни на минуту.

Нет, если это продлится так целую неделю, – с ума можно сойти. Во что бы то ни стало необходимо, так или иначе, удалить отсюда больную наставницу... Ведь все равно она должна уехать не сегодня-завтра лечиться в Крым.

Так зачем же тянуть дело, зачем бесполезно трепать нервы детей этими бесконечными прощаниями. Завтра же необходимо поговорить с Лидией Павловной или с инспектором классов обо всем этом.

И, покончив на этом решении, Ия засунула голову между двух подушек, стараясь во что бы то ни стало заснуть.

Это ей удалось наконец сделать. Усталость взяла свое. И когда перед самым рассветом Магдалина Осиповна с бледным, измученным от бессонницы лицом вернулась в уголок за ширмами, новенькая наставница спала, как убитая, крепким сном.

Глава VI

– Неправда! Неправда! Ты не могла этого слышать.

– Да правда же, mesdames! Ей-богу!

– Ложь, не может этого быть?

– Ах ты. Господи! Не присягу же мне принимать, чтобы вы поверили!

– Она перекрестилась, mesdames! Смотрите. Нельзя же врать под крестом...

– Конечно...

– Ну неужели же это правда? Такое предательство!

– Такое бессердечие!

– И жестокость!

– Я же говорила вам, что она – змея!

– И изверг!

– Фурия!

– Просто ведьма с Лысой горы!

– Опомнитесь, что вы! Ведьма с этими белокурыми волосами и точеным личиком!

– Профессорша, не философствуй. Вспомни «Майскую ночь» Гоголя, его ведьму-мачеху. Разве обязательно, чтобы ведьма была уродка?

– Перестаньте болтать ерунду... Понять ничего нельзя. Дайте же по крайней мере договорить Шуре. Августова, рассказывай все, что слышала, по порядку. Ну!..

Голос Евы Ларской звучит по обыкновению властными нотками. Но то, что возмущает в ней в иное время ее одноклассниц, теперь проходит незамеченным ими. Сейчас не до «тона». Открытие, сделанное сейчас этой всеведущей и вездесущей Шурой, настолько захватило девочек, что все остальные вопросы отодвигаются далеко назад. Шура Августова внезапно делается центром внимания целого отделения. Ее берут по руки и ведут на кафедру. Перед нею расступаются, дают дорогу. Она сама взволнована больше остальных. Ее синие глаза горят. Вся она дрожит от волнения.

– Да, да, mesdames, – звенит ее трепещущий голос. – Да, да! Они и сейчас еще там. До сих пор совещаются. Досадно, что я не могла дослушать всего до конца. Но то, что слышала, – это правда. Я вам сказала наспех, теперь расскажу подробно: я шла в перевязочную, уколола пером нечаянно палец. Вхожу в коридор. Вижу стоит «сама» и идол этот бесчувственный. «Сама» слушает, идолище говорит: «Не могу, – говорит, – никакие нервы не вынесут. Нельзя так мучить детей. Они и так слишком впечатлительны. А тут эти слезы. Эти бессонные ночи. Тут никакое железное здоровье не выдержит. Если она решила уехать, то пусть сделает это, не откладывая в долгий ящик, не мучая понапрасну девочек долгими проводами. – И потом (это опять она, идолище наше, говорит): – Я нахожу вредным продолжительное присутствие больной в одной комнате со здоровыми детьми, а особенно ночью. Они дышат одним воздухом. Ведь чахотка, а она, оче-

видно, у моей уважаемой предшественницы, заразительная болезнь...»

– Так и сказала?

– Так и сказала, как отрезала.

– Ну, ну! Дальше, дальше...

– А еще, говорит, эти бессонные ночи и бесконечные слезы могут вредно отразиться на занятиях детей. Какие могут пойти им в голову уроки, когда организм их отравляется принудительными бессонницами и частыми слезами...

– Ну?

– Ну, говорит: «Если вы, Лидия Павловна, откажете поспособствовать скорейшему отъезду Магдалины Осиповны, придется уехать мне».

– Так и сказала?

– Дословно.

– Шурка, а ты не врешь?

– Глухова, вы здоровы? Как можно клеветать так на честного человека? – и синие глаза мечут молнии по адресу не в меру недоверчивой товарки.

– Молчите же, mesdames, дайте докончить «честному человеку», – вступается успевшая вскочить на край кафедры Маня Струева, сверкая оттуда на всех своими разгоревшимися от любопытства голубыми глазенками.

– Говори, Августова, говори!

– Что говорить-то, mesdames? Уж, кажется, все сказано. Идолище выгоняет нашу кроткую Магдалиночку. Ускоряет

ее отъезд. Ясно кажется сказала: «Она или я»?

– А «сама» что же?

– А «сама» раскисла. В первый раз, понимаете ли, нашу «Лидочку» такой кисляйкой увидела. Сама красная, как помидор, глаза бегают, как у мыши, а поет-то сладко, сладко. «Нет, – поет, – я не допущу, чтоб вы уехали. Нам, – поет, – нужны такие сильные, здоровые натуры. Такие трезвые, как ваша...»

– Да она с ума сошла! Аллах наш, Магдалиночка, тоже ведь в рот вина не берет, – вынырнув откуда-то из-под руки соседки, завизжала Зюнгейка, захлебываясь от негодования. Все невольно смеются ее наивности. Ева мерит дикарку уничтожающими взглядами.

– Боже, как глупа эта Карач, если думает, что трезвой натурой называется только такая, которая не пьет вина! – И, повернувшись всем корпусом к девочке, она говорит, отчеканивая каждое слово и сопровождая слова свои взглядом презрительного сожаления: – Лучше бы ты оставалась в твоей степной деревне, право, Зюнгейка, и выходила бы замуж за какого-нибудь бритоголового малайку (мальчишка по-башкирски). А то привезли тебя сюда, учиться отдали в пансион, четыре года зубришь тут разные науки, а ума у тебя ни на волос. Написала бы твоему отцу, возьмите, мол, все равно толку не будет.

– Мой отец – важный господин, – произнесла, вздрагивая от охватившей ее тщеславной гордости, Зюнгейка, – у

него четыре медали на груди: от прежнего царя две, да две от теперешнего. Он всеми деревнями заправляет, во всем уезде стоит большим старшиною. И дочка его не может быть неученая. Отец говорил, мать говорила, когда Зюнгейку отвозили сюда в большую столицу: учиись, Зюнгейка, умной будешь, ученой будешь. Большие господа к отцу приезжать в селение будут, их принимать будешь. Генералов важных со звездами на груди разговорами занимать станешь. Чаем поить, кумысом... А ты меня оскорблять хочешь, – с неожиданной обидчивостью заключила свою речь девочка.

– Никто тебя не обижает, дурочка...

– Довольно, mesdames, не в этом дело. До пререканий ли тут, когда идолище нашего ангела выкуривает! – И Маня Строева, размахивая руками, ловко спрыгнула с кафедры в самый центр шумевшего и волнующегося кружка. Оттуда вскочила одним прыжком на парту.

– Mesdames, что же делать? Что делать, говорите! – слышались растерянные голоса.

– Проверить, убедиться сначала, что это не утка, что действительно Басланиха потребовала скорейшего исчезновения Магдалиночки и тогда – бойкот! – произнес чей-то убедительный голос.

– Бойкотировать Басланову! Выражать ей на каждом шагу свое презрение, – подхватили другие.

– Я ей стол чернилами оболью, – сорвалось с губ башкирки, – отомщу за Аллаха моего, за алмаз сердца – Магдали-

ночку. Или булавку воткну ей в сиденье стула.

– Ну не глупая ли ты девчонка после этого? – с негодованием вырвалось у Евы. – Ну сделаешь гадость Баслановой, и сама в три часа вылетишь из пансиона. И не придется тебе чаем и кумысом поить твоих генералов со звездами... Согласись сама, что глупо придумала ты все это, Зюнгейка, – закончила Ева, насмешливо поглядывая на сконфуженное и растерянное лицо башкирки.

– А сама-то ты, Ларская, теперь не будешь идти против класса? – обратилась к ней вызывающе Шура Августова.

– Пока что я остаюсь при особом мнении, mesdames; нужно еще убедиться в достоверности факта. Да и потом я не вижу причины бойкотировать Ию Аркадьевну. Она, по-моему, отчасти права, Магдалиночка – ангел, но ангел, не лишенный чрезмерной сентиментальности и уж такой мягкосердечности, из-за которой все вы распустились и стали совсем как уличные мальчишки.

– Что? Да как ты смеешь? Сама-то хороша, пожалуйста, не важничай! Воображаешь, что из-за дяди-сановника все твои дерзости будут сходить тебе с рук. Сама в трех учебных заведениях побывала, прежде чем попала сюда. И смеет еще сравнивать нас с уличными мальчишками! Выскочка, сановница, терпеть не можем тебя, – зазвучали негодующие голоса вокруг Евы.

Последняя, как ни в чем не бывало, сложила руки на груди и оглядывала толпившихся вокруг нее рассерженных де-

вочек спокойными насмешливыми глазами.

А девочки волновались все больше и кричали все громче с каждой минутой.

– Бойкот! Бойкот! Если то, что передала Шура, – правда, будем бойкотировать идолище бесчувственное, станем изводить ее на каждом шагу. Выражать ей свое презрение, антипатию, ненависть. Пусть почувствует, как дорога нам была Магдалиночка наша, как мы все любили нашего ангела! Да, любили, любили, как никого.

Вдруг неожиданно стихли крики. Одна Маня Струева, взобравшаяся с ногами на парту, кричала еще что-то, повернувшись спиной к двери.

– Шшш! – зашикали на нее подруги. – Струева, слезай! Слезай скорее! Лидия Павловна!

Действительно, в дверях класса показалась миниатюрная фигурка начальницы. За нею была видна стройная фигура Ии.

– Струева, – строго обратилась Лидия Павловна к расходившейся Мане. – Бог знает, что у вас за манеры. Барышни не должны скакать по столам и кричать на всю улицу. Стыдитесь, что до сих пор, несмотря ни на какие старания с нашей стороны, вы остались таким же отчаянным мальчишкой-сорванцом, каким и поступили в наше уважаемое всеми учебное заведение. Да, Магдалина Осиповна была действительно через меру добра к вам. И нужно приложить много усилий, чтобы подтянуть вашу распущенность. О ней, именно о на-

шей уважаемой наставнице, я и пришла сообщить вам, дети. Здоровье Магдалины Осиповны так пошатнулось за последнее время, что обстоятельства вынудили ее внезапно собраться и уехать. Она просила передать вам свой прощальный привет, дети. Вы не увидите ее, по всей вероятности, вплоть до ее возвращения из Крыма.

Дружное «ах», вырвавшееся из уст двадцати девочек, легким вздохом пронеслось по классу.

– Она уехала! Мы ее не увидим! Ее бессовестно удалили раньше установленного срока из пансиона! – Вот какова была мысль, мелькнувшая в каждой из присутствовавших здесь юных головок. И словно по мановению волшебного жезла глаза пансионеров сразу обратились в сторону Ии.

– Вот та, из-за которой принуждена была уехать внезапно эта милая, кроткая Магдалиночка! – Пронеслось новой мыслью в юных головках. И сколько явного, плохо скрытого под маской корректности негодования отразили все эти светлые и темные глазки!

Ия стойко выдержала недоброжелательные взгляды своих будущих воспитанниц. Спокойно, без тени смущения смотрели ее серые строгие глаза. И только когда кто-то громко зарыдал в углу класса, она, не торопясь, прошла туда, склонилась над плачущей и своим ровным, спокойным голосом негромко проговорила:

– Полно отчаиваться и горевать понапрасну... Если вы действительно любите вашу Магдалину Осиповну так силь-

но, как говорите, то вы должны только радоваться тому, что она нашла возможность уехать на юг для лечения. – И, обращаясь уже ко всему классу, добавила, повышая голос: – Приготовьте ваши тетради, дети, сейчас начнется письменная работа по русскому языку. Господин Вадимов уже пришел.

И как ни в чем не бывало она заняла свое место за маленьким столом у окна.

Глава VII

Это был пестрый, богатый впечатлениями день. Уже в то время, пока учитель русской словесности Алексей Федорович Вадимов, высокий желчный старик, ярый поклонник классиков и гонитель всяких новшеств в литературе, задавал тему нового классного сочинения и, стоя у доски, писал на ней мелом план работы, Ия поймала несколько обращенных по ее адресу взглядов, полных откровенной ненависти и вражды. Она сделала вид, что не обратила на них ни малейшего внимания.

Но вот Вадимов написал план и приблизился к ней.

– Познакомимся, барышня. Вы заместительница Магдалины Осиповны, – протягивая руку Ие и резко встряхивая ее нервным пожатием, произнес он отрывисто: – Что ж, дело хорошее... Дело воспитания, говорю, хорошее, – в непонятном раздражении повторил он. – Только, жаль, молоды вы очень, барышня... Не справитесь вам, пожалуй, с такой избалованной публикой. – Тут он небрежно кивнул через плечо на пансионерок... – Распустила их уж очень предшественница ваша. Набаловала себе на голову. Подтягивать вам их придется, барышня, что и говорить, сильно подтягивать. Ну, что ж, подавай бог, подавай бог!

Он еще раз пожал руку Ие и отошел было к кафедре, но вдруг неожиданно вернулся и, понижая голос чуть не до ше-

пота, спросил:

– А вы как насчет литературы новенькой, стряпни этой модернистов, импрессионистов и тому подобных «истов», – вы их, поди, запоем читаете? А?

Ия подняла на учителя свои спокойные глаза:

– Да, я читаю новых авторов. Многие из них талантливы. Но лучше Пушкина, Гоголя, Тургенева и Толстого, Лермонтова и Некрасова я не знаю никого! – без запинки отвечала она.

Желчное, нервное, всегда недовольное лицо старика прояснилось сразу. Губы, не перестававшие жевать по привычке, улыбнулись, и все лицо Вадимова вдруг под влиянием этой улыбки стало моложе лет на десять, приветливее и добрее.

– Хвалю, барышню, хвалю!.. Русских наших апостолов литературы забывать грешно. Их никто нам не заменит, никакая новая литературная стряпня. Вы на меня взгляните: я – старик, а еще до сих пор увлекаюсь...

Последняя фраза, произнесенная несколько громче предыдущих, заставила оторваться от работы две близко помещавшиеся головки, пепельно-русую и темненькую.

Маня Струева взглянула на Шуру Августову. Шура Августова на Маню Струеву. И по губам обеих пробежали лукавые улыбки.

– Я старик, а еще до сих пор увлекаюсь! – прошептала со смехом Шура. – Это он «идолищем» нашим увлекается. А?

Каково?

– Ну вот еще, классиками, конечно! – тоном, не допускающим возражения, отвечала Маня.

– Нет, каков! Так и вьется вьюном вокруг Басланихи. Вот так парочка! Непременно изображу обоих в ближайшую перемену.

– Пожалуй. Послушай, я забыла как слово «разве» надо писать? Через «е» или «ять»? Скорее!

– Спроси Мордвинову, она первая ученица, должна знать.

– Мордвинова... Мира... Мира... Как «разве» писать? – зашептала, оборачиваясь Маня.

– Mademoiselle, Вы... Я не знаю, как ваша фамилия... Перестаньте шептаться... Пишите вашу работу...

И к великому смущению Мани Струевой, она увидела около своей парты высокую стройную фигуру Ии. Молодая наставница точно из-под земли выросла перед нею и смотрела на нее в упор своими серыми строгими глазами.

Метнув по ее адресу уничтожающий взгляд, маленькая Струева снова принялась за работу, а Ия прошла дальше между двумя рядами классных скамеек и парт. Последняя парта привлекла ее внимание. За нею сидела красная, как пион, Зюнгейка Карач и бесцельно водила пером по лежавшему перед ней совсем чистому листу бумаги, приготовленному для сочинения.

А соседка башкирки, близорукая, в очках, Надя Копорьева быстро-быстро писала что-то на своем листке, причем из-

под слегка отогнувшегося угла выглядывал другой такой же листок. В глаза Ие невольно бросилась надпись, сделанная на полях этого последнего крупными размашистыми каракульками: Зюнгейка Карач. Это значило, что второй листок для сочинения принадлежал башкирке и что Надя Копорьева исполняла, помимо своей работы, еще и работу своей соседки.

Рука Ии неожиданно для обеих девочек опустилась на злополучный листок.

– Простите... но к вам, кажется, случайно попало чужое сочинение, – произнесла она, спокойно глядя в самые зрачки зардевшейся, как пион, Копорьевой.

– Аллах мой! Все погибло! – прошептала сгоравшая от стыда и страха Зюнгейка и закрыла лицо руками.

– Сейчас нафискалит Вадимову. Тот разорется, побежит жаловаться «самой». Узнает папа, какой скандал! – вихрем проносилось в голове сконфуженной Нади. И она бросала украдкой смущенные взоры то на Ию, все еще стоявшую около ее парты, то на учителя, к счастью, занявшегося в эту минуту на кафедре классным журналом.

– Итак, Карач, так, кажется, ваша фамилия? – произнесла Ия твердо, обращаясь к совсем уничтоженной башкирке. – Вы возьмете случайно попавшую на парту вашей соседки вашу работу и будете писать заданное господином преподавателем сочинение уже без посторонней помощи. – И так как Зюнгейка, убитая смущением, все еще не решалась сделать этого, Ия вынула из-под руки Копорьевой лист бумаги

с начатым на нем сочинением и положила его на парту перед башкиркой.

Всю остальную часть урока молодая девушка уже не отходила от этой парты. Не отходила до тех пор, пока исписанный, закапанный в нескольких местах кляксами листок Зюнгейки не перешел в руки учителя. И только когда малиновая от стыда башкирка вернулась на свое место по водворении ею ее письменной работы на кафедру, Ия отошла к своему столу.

– Единицу получу, алмаз мой, единицу, непременно, – зашептала Зюнгейка, припадая к уху своей соседки Нади.

– Я там такого разного написала, что сам аллах не поймет. А «она» еще над душой повисла! Стоит и дышит в затылок, стоит и дышит, и ни на шаг не отходит от меня, – с тоскою заключила в конец уничтоженная девочка.

Дрогнул звонок в коридоре. Дежурная по пансиону воспитанница распахнула классную дверь, и Вадимов, забрав листки с сочинениями, угрюмо мотнув головою по адресу пансионеров, пошел из класса. По дороге он остановился перед Ией и пожал ей руку.

– Сейчас пожалуется... Насплетничает сию минуту... – волновалась бедняжка Зюнгейка. Но к ее большому удивлению, Ия молча попрощалась с учителем, не раскрывая губ.

Урок кончился, началась перемена. Открыли форточки в классе, и весь пансион высыпал частью в рекреационную залу, частью в коридор. Ия прошла вместе со своим отделе-

нием туда же. Она не заметила, как две девочки, самые отчаянные шалуни четвертого класса, Струева и Августова, прошмыгнули назад в отделение, пользуясь общей суматохой маленькой перемены.

Когда, по прошествии традиционных десяти минут, положенных на эту перемену, Ия в сопровождении своих воспитанниц вошла снова в класс, яркая краска румянца проступила на щеках молодой девушки, и смущенно дрогнули ее черные ресницы. Повернутая лицевой стороной к двери и выдвинутая на середину комнаты классная доска была испещрена крупным рисунком, сделанным мелом по черному фону.

Рисунок имел характер карикатуры и довольно удачной карикатуры, как могла заметить это Ия. Карикатура изображала ее самое – Ию Аркадьевну Басланову в подвенечном наряде, с длинной фатою, стоявшую у аналоя рука об руку со стариком Вадимовым. А над ними как бы витали в облаках довольно похожие лица писателей-классиков: Пушкина, Гоголя и Тургенева, простиравших над брачующейся парой благословляющие руки. Нужно было отдать справедливость «художнику», рисунок вышел на славу. Особенно верно были схвачены общие черты и выражение лиц Вадимова и Ии. Он – с брезгливо оттопыренной нижней губой и недовольным лицом, она – сосредоточенно-серьезная с ее несколько суровым личиком и плотно сомкнутыми губами. А внизу стояла в кавычках фраза: «Я хотя и старик, а еще до сих пор

увлекаюсь»...

Первое впечатление, навеянное карикатурой на Ию, было впечатление негодования и гнева.

– Как это глупо и жестоко, – мысленно произнесла девушка, – так бессовестно смеяться над старостью! – Она хотела громко произнести эти слова, но сдержалась.

С трудом подавляя в себе охвативший ее порыв возмущения, Ия обвела взглядом толпившихся вокруг доски воспитанниц. Насмешливые улыбки, лукаво поблескивавшие шаловливыми огоньками глаза были ей ответом на ее возмущенный взгляд. Тогда, краснея еще больше, она заговорила, обращаясь к девочкам:

– Я не знаю автора этой возмутительной проделки, mesdames, и могу только удивляться, как можно было высмеивать такого почтенного человека, как ваш преподаватель господин Вадимов. Еще больше удивляет меня то, что вы не могли, очевидно, понять долетевшую до вас фразу Алексея Федоровича и приписали ей совсем исключительное значение. Да, он счастлив, этот почтенный человек, что может увлекаться, как юноша, творениями искусства и красоты, всеми бессмертными памятниками нашей классической литературы. Я завидую ему, завидую тому, что он в его семьдесят лет не потерял еще чуткости ко всему прекрасному, тогда как мы в его годы, может быть, совсем отупеем и забудем тех, на чьих прекрасных образцах мы знакомились с нашим классическим литературным богатством. И жаль, что вы не

сумели оценить светлого влечения к высшему из искусств этого почтенного старца...

Голос Ии дрогнул при последних словах. Глаза ее уже не смотрели на воспитанниц. Она взяла лежавшую тут же тряпку и хотела было стереть карикатуру с доски. Но чье-то легкое прикосновение к ее руке удержало ее на минуту.

Живо обернулась Ия. За ее плечами стояла Лидия Павловна, и смущенно глядели испуганные лица пансионерок.

– Чей это рисунок? – без всяких предисловий обратилась к воспитанницам неслышно вошедшая в класс начальница.

И так как все молчали, она одним быстрым, пронизательным взглядом окинула отделение.

– Августова! Я узнаю вас в этой новой гадкой проделке. И вам не стыдно? – обратилась она спокойным тоном, не повышая голоса, к заметно побледневшей Шуре, сопровождая свои слова испытующим взглядом своих насквозь пронизывающих глаз.

Лицо Шуры Августовой из бледного стало мгновенно малиновым. С растерянной улыбкой она выступила вперед. Эта улыбка окончательно погубила дело.

– Как, вы еще смеетесь? Какая глубокая испорченность натуры! – произнесла возмущенным тоном госпожа Кубанская, теряя изменившее ей на этот раз ее обычное олимпийское спокойствие. – Какая испорченная девочка! – повторила еще раз Лидия Павловна. – Вы неисправимы, Августова! Вы сумели профанировать даже дарованный вам Богом та-

лант!

Желтое, болезненное лицо начальницы брезгливо сморщилось.

– Следовало бы исключить вас за такого рода художество, Августова, но... принимая во внимание горе вашей матушки, я ограничусь на первый раз оставлением вас без отпуска вплоть до самых рождественских каникул! Но все же я требую, чтобы вы принесли извинения уважаемой Ие Аркадьевне. Слышите, Августова? И сейчас же стереть возмутительный рисунок с доски...

Тут Лидия Павловна унизанной кольцами рукою указала на все еще красовавшуюся на доске карикатуру.

Но, к удивлению всех, Шура не двинулась с места. Ее лицо приняло упрямое, замкнутое выражение. А синие глаза взглядом затравленного зверька глянули исподлобья.

– Проси прощения, проси прощения, Августова, – шептали дружным хором толпившиеся вокруг нее девочки.

Но Шура молчала и по-прежнему не двинулась с места. Только бледнее становилось ее лицо, да теснее сжимались губы.

– Если вы не попросите тотчас же извинения в вашей гадкой, недостойной шутке перед Ией Аркадьевной, мне придется изменить мое первоначальное решение, – возвысила снова свой обычно спокойный голос Лидия Павловна, – и вашей бедной матушке придется...

– Шура не виновата. Это я виновата. Я научила ее нарисо-

вать карикатуру на Юю Аркадьевну и господина Вадимова, – пробираясь сквозь тесно сомкнутый ряд пансионерок, дрожащим голосом произнесла маленькая с пепельными пышными волосами пансионерка, и дрожащая нервной дрожью с головы до ног Маня Струева предстала перед лицом начальницы.

Голубые глаза шалуни Струевой теперь бесстрашно смотрели в лицо Лидии Павловны, в то время как пухлые малиновые губки улыбались виноватой, растерянной улыбкой.

Легкая усмешка повела тонкие губы начальницы.

– Товарищеская поддержка – это очень трогательно, – произнесла несколько насмешливо госпожа Кубанская, – но мне было бы много приятнее, дети, если бы вы поддерживали друг друга не в шалостях и проказах, а в совместных занятиях, в приготовлении уроков и в более достойных делах, нежели изображение в карикатурах ваших наставников. Однако сделанного не вернуть. Его можно только исправить. А как исправить, вы знаете это сами. И я не буду вам в этом мешать, надеюсь, вы поняли меня? – значительно и веско заключила Лидия Павловна и, повернувшись, пошла из класса.

– Простите меня, m-elle Басланова! – услышала в тот же миг Ия – и порозовевшее от смущения лицо Струевой взглянуло на нее своими чистыми, голубыми глазами. Симпатичное открытое личико шалуни Мани еще при первом же взгляде, брошенном на него, чрезвычайно понравилось Ие. А ее красивый, благородный поступок окончательно при-

влек молодую девушку на сторону этого милого, хотя и без удержу шаловливого ребенка.

И много стоило усилий Ие, чтобы не броситься к маленькой Струевой и не расцеловать это алевшее от смущения личико.

Но она ограничилась лишь тем, что протянула руку и, крепко сжимая тонкие пальчики, проговорила ласково:

– Я надеюсь, вы поверите мне, если я скажу, что не сержусь на вас нисколько.

– О, да, m-elle, – искренне вырвалось из детского ротика, и голубые глаза, помимо воли их обладательницы, обласкали Ию.

– А я не извиняюсь, – вдруг неожиданно проговорила резким голосом Шура, впиваясь в лицо Ии неприязненным взглядом.

– Я не извиняюсь! – еще раз вызывающе и резко повторила она.

– Это уже дело вашей совести, – нашлась ответить ей после недолгого колебания Ия, в то время как возмущенные чрезмерной дерзостью Шуры ее подруги зашептали, дергая последнюю со всех сторон за передник.

– Августова! С ума ты сошла, что ли! Это уже слишком, однако! И тебе не стыдно, Августова?

– Во всяком случае, – продолжала, повысив голос, Ия, – если вы даже и не извиняетесь передо мною, как это приказала вам Лидия Павловна, – я передам начальнице, что вы

уже просили у меня прощенья. Мне жаль вашу мать, Шура, ведь вас так зовут, не правда ли? Подумайте, что будет с нею, если вас исключат?

Болезненная гримаса пробежала по сильно побледневшему лицу Августовой. Сердце сильно забилося в груди синеглазой девочки. Первым движением ее было кинуться вперед навстречу протянутой руке новой наставницы. Но какая-то злая, упрямая сила удержала этот добрый порыв. И губы Шуры сомкнулись еще упрямее.

Еще сердитее глянули исподлобья синие дерзкие глаза на Ию, и, хмуря черные шнурочки бровей, она произнесла, угрюмо глядя на Басланову:

– Пускай исключат меня, если это им нравится. Никому нет дела до моей матери. А просить прощенья ни за что не буду. Вы слышали? Ни за что! Так и скажите Лидии Павловне. И не нуждаюсь я ни в чем заступничестве. Решительно ни в чем!

Она хотела прибавить еще что-то, но в этот миг в отделение четвертого класса вошел Herr Lowe, учитель немецкого языка, маленький, румяный, жизнерадостный человек, и начался немецкий урок.

Глава VIII

Веселый, улыбающийся, с быстрой речью и круглыми щеками, похожими своим цветом на два румяные яблока, Herr Lowe производил на окружающих самое отрадное впечатление.

Начать с того, что он никогда не ставил ученицам дурных отметок.

Вызовет девочку, проверит заданный урок – отвечает ему воспитанница из рук вон плохо, а после урока, глядишь, против фамилии отвечавшей красуется вместо пресловутой единицы семь с минусом, низшая отметка, которую можно было получить у учителя немецкого языка. И уж если воспитанница совсем ни в зуб толкнуть, как говорится, по части знания урока, вовсе рта не раскроет на все вопросы учителя, то и тогда Herr Lowe ограничивается одним только *nota bene*, обещая переспросить провинившуюся девочку в следующий раз.

Зато уроки немца проходили весело и интересно. Этот румяный маленький человечек, похожий больше на какого-нибудь немецкого фермера, нежели на учителя, имел к тому же приятную склонность к декламированию стихов. И нужно сознаться, декламировал он их в совершенстве. При этом его румяное лицо улыбалось и сияло, а маленькие голубые глазки принимали самое сентиментальное выражение.

При виде Ии Негг Lowe очень изумился.

– Как фрейлен Вершинина уже уехал? О как шаль! Как шаль! – закачал он своей круглой, как шар, с большой лысиной головою. И, как бы спохватившись, что это нелюбезно по адресу новой классной наставницы, Негг Lowe тотчас же предупредительно обратился к ней с самой любезной улыбкой:

– Но ви тоше, фрейлейн, будет дофольны своими детками. Детки будут любить вас, как и ваш предшественниц! – залепетал он, кивая головою и сияя голубыми глазками.

Увы! Ия предчувствовала нечто обратное тому, что говорил учитель, но должна была ответить добряку немцу несколькими любезными фразами.

Пару насмешливых улыбок успела она все-таки перехватить по своему адресу в то время, как учитель выражал уверенность, что милые детки будут любить ее не менее Магдалины Осиповны.

О, эти милые детки!

Сердце Ии сжималось теперь самыми злейшими предчувствиями. Ее служба здесь только начиналась, а уже первые впечатления, пережитые ею, были исполнены всевозможной горечи и неприятностей.

За утренними уроками следовал завтрак. Затем воспитанницы шли не общую прогулку. Они гуляли попарно или по несколько человек, взявшись за руки, по большому, похожему на парк саду, густо разросшемуся дубами, липами и кле-

нами и окружавшему с трех сторон здание пансионата.

Посреди этого сада находился пруд. Вода в нем подернулась зеленью, похожей на плесень. Ева Ларская, взявшая на себя роль проводника новой наставницы во время прогулки по большому саду и не отходившая от Ии во все время этой прогулки, перехватила взгляд последней, устремленный на зеленоватую поверхность маленького озера.

– Вы не смотрите на то, что он такой крошечный, этот пруд, и похож на лужу, – говорила Ие бледная худенькая девочка с голубыми жилками на висках, – здесь есть опасный омут. Из-за него-то Лидия Павловна и запрещает нам близко подходить к пруду с тех пор, как в нем утонула одна пансионерка. А зимою здесь устраивается каток, и мы катаемся на коньках вместо прогулок во время большой перемены после завтрака.

– Утонула пансионерка? – сорвалось тревожно из уст Ии. – Утонула здесь? В этой луже? – переспросила удивленно молодая девушка.

– Но я же говорю вам, что в этой горсточке воды находится глубокий омут, m-elle Басланова, а Анна Левина в начале мая вздумала купаться в один из жарких весенних дней, пока в саду никого не было. И ее затянуло в этот ужасный омут. Через два часа догадались только, где она, и нащупали баграми ее уже заочневшее в воде тело. Впрочем, это было еще до моего поступления сюда. Я еще училась тогда в казенной гимназии. Но Надя Копорьева, вы знаете Надю, дочь

нашего инспектора классов, вот, высокую девочку в очках, она мне рассказывала о бедной погибшей Анне.

И без всякой последовательности Ева закончила свою речь вопросом:

– А знаете, Ия Аркадьевна, что наши девочки ненавидят вас?

– За что? – не могла не улыбнуться Ия.

– За то только, вообразите, что они слишком любили Магдалину Осиповну. Я одна ее не очень-то долюбливала, представьте.

– Почему же?

– Да потому, что она была чересчур мягкая, слабая и позволяла садиться себе на шею. При ней мы все делали, что нам вздумается. Она никогда не повышала голоса, не сердилась. За это они ее любили. Но и был наш класс вследствие этой ее бесхарактерности на самом дурном счету. Каждый делал, что хотел, и учились мы все, надо сказать правду, отвратительно. Конечно, девочки встретили вас «на рогаину» потому только, что почувствовали над собою силу. И любить вас они все-таки не будут ни за что...

– Мне и не надо их любви, – спокойно проговорила Ия, – я требую от них не чувства ко мне, а сознания долга к исполнению... наложенных на них школой обязанностей.

– Ах, как вы хорошо это сказали, m-elle! – вырвалось произвольно у Евы, и из-за болезненных черт ее старообразного лица выглянули черты и улыбка милого непосред-

ственного ребенка.

Ие неожиданно захотелось приласкать этого ребенка. Но, верная себе, она сдержалась.

– А меня именно и привлекает к вам эта ваша сила, – помолчав немного, снова заговорила задушевно Ева, – вы подумайте только, Ия Аркадьевна, как хорошо представлять из себя единицу, личность, с мнением которой люди считаются, кого они уважают даже помимо их собственного желания.

Ведь если бы меня держали строже, если бы я видела вокруг себя людей с сильным характером и твердою волей, разве мне пришлось бы в голову вести себя так, как я вела себя в тех прежних учебных заведениях и за что меня исключали уже два раза. А то мама ввиду моей болезненности позволяла мне делать все, что мне вздумается: и не учить уроков, и не посещать классов. Мне безнаказанно спускались все те дерзости, которые я позволяла себе по отношению к старшим, и Магдалина Осиповна уж, конечно, не имела никакого влияния на меня. Она была такая обыкновенная, маленькая... А вы...

Ева Ларская не договорила. Восторженно-радостный крик пронесся в эту минуту по саду. И воспитанницы замечались по его бесконечным дорожкам и тропинкам, устремляясь в ту сторону, откуда слышался этот призывный радостный крик.

Ия в сопровождении не отстававшей от нее ни на шаг Евы поспешила туда же. На крыльце здания, выходящем широко-

ми каменными ступенями в сад, стояла Зюнгейка Карач, вся красная от радостного волнения, и размахивала небольшим белым конвертиком, который держала высоко над головой.

– От Магдалиночки! Магдалиночки, звездочки нашей, солнышка нашего! Ангела нашего, – кричала, то и дело сопровождая слова свои неприятными, режущими ухо взвизгиваниями, Зюнгейка. – Сюда, ко мне идите! Слушайте, что пишет нам наша чудная Магдалиночка!

Привлеченный этими криками, весь пансион в несколько секунд собрался у крыльца вокруг находившейся здесь Зюнгейки, и десятки рук протянулись к башкирке.

– Читай письмо, читай же скорее, Карач! – нетерпеливо звучали молодые голоса.

– Mesdames! Не смейте вырывать письмо, а то не узнаете ни строчки! Оно мне написано, мне и принадлежит! – сверкая глазами, вопила башкирка в ответ на все поползновения ее одноклассниц завладеть письмом.

Это письмо было прислано только что Магдалиной Осиповой с посланным из дома ее матери, куда больная наставница переехала на время из пансиона.

«Милые мои деточки! Не удалось мне как следует проститься с вами, – стояло в письме. – Судьбе было угодно лишить меня и этой последней радости. Бог знает, увижу ли я вас еще когда-нибудь, а между тем обстоятельства сложились так, что я не могла даже прижать вас в последний раз к моему любящему сердцу и расцеловать ваши бесконечно

дорогие мне мордочки, которые неотступно стоят все время передо мною...»

Все последующие строки письма были написаны в том же духе.

Ни одним словом не упоминалось в нем о Ие, но она фигурировала в письме без названия, то под видом обстоятельств, то под личиной судьбы.

Когда бледные от волнения пансионерки познакомились с содержанием письма, такого нежного и ласкового, но таившего, может быть, помимо воли писавшей его, яд обвинения против Ии, все головы повернулись к этой последней. Снова заблестели угрозой и недоброжелательством юные глаза пансионерок, но молодая девушка, стараясь не замечать этих недоброжелательных взглядов, как ни в чем не бывало позвала детей в класс...

Следующий урок был уроком истории.

Еще молодой, недавно сошедший с университетской скамьи, учитель Петр Петрович Гирсов, умевший захватить красочной речью свою юную аудиторию, образно и красиво рассказывал воспитанницам о значении искусств в общественной жизни древних греков.

Но мало кто слушал его сегодня. Воспитанницы все еще находились под влиянием полученного письма. Постоянное шуршание и легкий шорох на последних скамьях привлекали внимание Ии. Она прошла по классу и заметила нечто, совершенно не согласовавшееся с уроком древней истории,

происходившее сейчас у нее в отделении. И причину этому было все то же злополучное письмо.

Каждой из воспитанниц хотелось приобрести на память хотя бы копию его. Нечего и говорить, что оригиналом деспотично завладела Зюнгейка, на имя которой оно и было прислано. И вот, одна за другою, девочки переписывали его в свои записные книжки на память.

– Mesdemoiselles! Не время и не место заниматься посторонним делом на уроке, – произнесла Ия, неожиданно появляясь перед партой Мани Струевой, переписывавшей в эту минуту последнюю страницу письма. Ия взяла злополучный документ и унесла его на свой столик.

Едва закончился урок истории, как перед нею словно из-под земли выросла красная, пылающая злобой Зюнгейка.

– Нельзя брать чужое. Надо отдавать чужое. Так закон учил. Так Аллах велел, – нервно жестикулируя чуть ли не у самого лица Ии, выходила из себя башкирка, наступая на молодую девушку.

С бледным лицом и спокойной улыбкой Ия взяла ее за обе руки и несколько секунд продержала эти смуглые, отчаянно рвавшиеся у нее в руках пальцы в своих.

– Так не разговаривают со старшими, Карач, – произнесла она твердо и спокойно.

– А старшие не должны показывать дурного примера младшим. Если бы мы взяли у вас чужое письмо, что бы вы сказали на это? – И Шура Августова, очутившись подле

Зюнгейки, дерзко уставилась обычным своим вызывающим взглядом в лицо Ии.

Молодая наставница смерила ее глазами с головы до ног.

– Это письмо останется у вас. Его никто не возьмет. Но, пока идут уроки, я не могу разрешить вам переписывать его, – послышался сдержанный ответ Ии.

– А вы его не прочтете?

Синие дерзкие глаза снова блеснули явной насмешкой по адресу Ии. Как под ударом хлыста, вздрогнула молодая девушка. Эти слова жестоко оскорбили ее. Но и тут, стараясь совладать с охватившим ее волнением, она с ледяным спокойствием отвечала Шуре:

– Я не имею привычки читать чужих писем, запомните это раз навсегда, Августова, и по окончании уроков, повторяю еще раз, вы получите ваше письмо обратно.

– Бессовестная! – крикнула Ева Ларская, выбегая вперед... – Как ты смеешь оскорблять Ию Аркадьевну? Ведь если бы Лидия Павловна узнала все... то... то...

Ева не могла договорить. Она дрожала, как лист. Девочка была очень нервна от природы, и часто малейшее волнение у нее заканчивалось обмороком.

Маня Струева, зная это и уступая влечению своего доброго сердечка, бросилась к Еве:

– Не ссорьтесь, дети мои, ради Бога... Шурочка, Ева! Что это в самом деле, право!

– Пусть отдаст письмо... Аллаха нашего... Магдалиноч-

ки нашей! – твердила между тем в полном забвении чувств Зюнгейка.

Шум и волнение росли с каждой минутой. За этим шумом не было слышно приближения учителя, и только когда преподаватель математики, добродушнейший толстяк со странной фамилией Полдень, вошел на кафедру и послал оттуда свое обычное: «Здравствуйте, девицы», пансионерки, как испуганная стая птиц, разлетелись по своим местам.

Урок математики, к счастью, сошел благополучно. Но зато обед принес Ие новые, непредвиденные волнения.

– Mesdames, во имя Магдалины Осиповны и в память ее я объявляю голодовку! – произнесла Зюнгейка Карач, решительным жестом отодвигая от себя за столом тарелку с супом. – Кто любит алмаз наш, Магдалиночку, тот не прикоснется ни к супу, ни к жаркому день, другой, третий!.. Целую неделю, если это возможно. Словом, до тех пор, пока не станут от голода подкашиваться ноги и не закружится голова, – объявила она своим громким шепотом, отчаянно жестикулируя по привычке.

– Удивительно остроумное решение, нечего и говорить! Пошлость, достойная ее творца, – заговорила возмущенным тоном Ева Ларская, – и глупее глупого будет, mesdames, если вы последуете примеру этой дикой девчонки.

– Отчего же не последовать? Надо же хотя чем-нибудь отметить уход Магдалиночки, раз ее так бессовестно выкурили от нас, – так громко проговорила Августова, что сидевшая

за этим же столом вместе с пансионерками Ия услышала ее слова. Но она сделала вид, что не слыхала Августовой. Между тем к «объявившей голодовку» башкирке и последовавшей ее примеру Шуре примкнуло еще несколько человек. Маня Струева хотела, было, избавиться от неприятной обязанности идти по стопам «голодающих», но Шура так строго взглянула на бедняжку, что той оставалось только отодвинуть от себя прибор и, вооружившись терпением, смотреть, глотая слюни, как с аппетитом уничтожались сидевшими за столом более благоразумными воспитанницами бараньи котлеты с горошком и куски песочного торта, поданного на третье блюдо.

А вечером, когда пансионерки пришли после чая и молитвы в дортуар, у них произошло новое столкновение с Ией. Ровно в десять часов Ия вышла из-за ширм и громко объявила во всеуслышание:

– Masdemoiselles! Тушите свечи и бросайте ваши занятия. Я гашу электричество, пора спать.

Поднялись «ахи» и «охи», громкий ропот неудовольствия и негодования.

– Как так? Ведь еще десять часов только! Детский час. При Магдалиночке мы сидели со своими «собственными свечами» до двенадцати! – слышались со всех сторон протестующие голоса.

Стараясь владеть собою и не выходя из обычного спокойствия, Ия отвечала:

– Мне нет дела до того, что было при моей предшественнице. У меня есть свои собственные правила, соблюдения которых я буду требовать от вас. Во всяком случае, раз вы встаете в половине восьмого утра, вы должны засыпать до двенадцати ночи, чтобы иметь свежую голову и бодрое настроение на следующий день.

– Ага! Вот оно что! И тут притеснение! Ну хорошо же! – прозвучал чей-то шепотом произнесенный многозначительный ответ.

И в тот же миг потухло электричество. В абсолютной темноте, натыкаясь на табуретки, попадавшие ей по пути, Ия с трудом добралась до своего уголка за ширмами.

Когда она подходила к крайней постели, до слуха молодой девушки долетел тихий, дробный, явственный стук, повторенный несколько раз.

Было слышно очевидно, что кто-то из воспитанниц отстукивает косточками пальцев по доске ночного шкапика. Ия остановилась.

– Кто это стучит? – крикнула она громким голосом в темноту...

– Должно быть, мыши! – со сдержанным фырканьем отвечал смеющийся голос.

Тогда, не спеша, Ия повернула назад. Стук повторился уже в другом месте, рядом, около соседней кровати.

– Тук! Тук! Тук!

Теперь уже стучали подле каждой постели, с которой рав-

нялась в тот момент ее высокая, слабо намеченная лунным светом фигура.

– Тише, mesdemoiselles, прошу не шалить – сдержанно уговаривала расходившихся воспитанниц молодая девушка.

И, словно в ответ на эти слова, стук участился. По мере медленного путешествия Ии по длинному темному дортуару он разрастался с каждой минутой. Мимо чьей бы постели ни проходила девушка, при сдержанном хихиканье неслось оттуда четкое и раздельное постукивание пальцев о доски ночных шкапиков.

Наконец, потеряв всякое терпение, Ия остановилась посреди комнаты.

– Будет ли конец вашим шалостям, mesdemoiselles? – произнесла она дрогнувшим голосом. И в тот же миг дружное, в несколько рук, массовое выстукивание наполнило своим нудным, неприятным шумом дортуар.

Теперь стучали долго и оглушительно громко.

Ия стояла растерянная и смущенная едва ли не в первый раз в жизни.

Останавливать девочек она не решалась. Да это было бы сейчас бесполезно; чтобы не дать понять своего раздражения, она спокойно направилась дальше. Массовое постукивание прекратилось, но зато прежнее единичное преследовало ее настойчиво и неумолчно.

И вот, покрывая сонным голосом весь этот шум, Ева Ларская закричала громко:

– Что за безобразия, спать не дают! Свинство, mesdames!

Нашли тоже время, когда сводить счета!

Но никто не обратил внимания на эти слова.

Девочки продолжали стучать. Стучали еще и тогда, когда совершенно измученная этим стуком Ия прошла в свой уголок за ширмой и, заткнув уши пальцами, повалилась ничком, обессиленная, на кровать.

– Нет, нет, я не останусь у вас! Не могу остаться! – говорила на другой же день Ия, сидя против Лидии Павловны в рабочем кабинете последней. – Я не из тех, которые жалуются на каждую мелочь, придираются по пустякам, сводят мелкие счета. Но и изводить себя таким обращением я тоже не позволю. Не по моей вине заболела любимая пансионерками их прежняя наставница, и мне пришлось заступить ее место. И меня крайне тревожит эта явная вражда, которую ни за что, ни про что проявляют дети, – взволнованным голосом заключила свою речь молодая девушка.

Лидия Павловна заметно встревожилась. По ее всегда сдержанному лицу пробежало выражение беспокойства.

– Дитя мое, – проговорила она, притрагиваясь унизанной кольцами рукою руки Ии, – вы напрасно так волнуетесь. Вы – такая умница, такая тактичная с этой врожденной способностью обходиться с детьми! Я кое-что успела подметить в вас, Ия Аркадьевна. То именно, что так ценно в воспитательнице – врожденный такт и умение владеть собою. И наставницы, обладающие такими драгоценными качествами, нам крайне

желательны. Я не отпущу вас ни за что. Скажите, эта невозможная Августова извинилась перед вами? Если нет, то я уволю ее тотчас же безо всяких разговоров.

Ия вспыхнула, как зарево, при последних словах начальницы. Она знала, что судьба этой «невозможной» Августовой теперь зависела только от нее. По одному ее слову госпожа Кубанская исключит из пансиона Шуру или же оставит ее здесь.

И не привыкшая лгать, опуская свои строгие, правдивые глаза под упорным, настойчивым взглядом начальницы, Ия, решив во что бы то ни стало отстоять Августову, проговорила:

– Да, извинение мне было принесено.

Это была чуть ли не первая ложь, сказанная девушкой. Но эта ложь спасла Шуру. Ответ молодой девушки, казалось, вполне удовлетворил начальницу. По ее холодному сдержанному лицу пробежала тень подобия улыбки.

– Ну, вот и отлично, – поверив словам своей собеседницы, проговорила Лидия Павловна, – вот и отлично! Теперь вы должны непременно остаться помогать мне в трудном деле воспитания детей. Нет, нет, не отнекивайтесь, не покачивайте вашей благоразумной головкой... В силу долга, из одного человеколюбия вы должны остаться у нас, должны помочь мне исправить то невольно причиненное Магдалиной Осиповной зло, которое посеяла ее чрезвычайная мягкость к детям...

– Но...

– Без «но», моя дорогая... Помогите мне, я же помогу вам. Я кое-что уже для вас сделала, и вас, милая Ия Аркадьевна, ждет в недалеком будущем очень приятный сюрприз. Не думайте, что я хочу подкупить вас этим. Вы, насколько я успела заметить за этот короткий срок нашего знакомства с вами, – неподкупны, и я более чем уверена, безо всяких новых просьб с моей стороны останетесь там, где принесете такую существенную пользу людям.

И, быстро поднявшись со своего места, Лидия Павловна протянула Ие руку, как бы давая ей понять этим, что их деловое свидание окончено.

Смущенная неясными намеками о каком-то сюрпризе, молодая девушка прошла к себе. Очевидно, сами обстоятельства складывались так, что ей необходимо было остаться и тянуть лямку наставницы, в которую запрягла ее судьба.

Глава IX

Суббота. Ясный сентябрьский полдень бабьего лета стоит над большим городом. Греет последним летним теплом солнце. Золотятся желтые листья деревьев. Рдеет алая спелая рябина в саду.

В субботу пансионеры распускают по домам до двенадцати часов, и к завтраку весь пансион заметно пустеет. Не уходят только несколько человек, оставленных без отпуска. Шура Августова и Маня Струева находятся в числе последних. Им удалось уговорить Лидию Павловну значительно сократить срок наказания, назначенного девочкам, но тем не менее три воскресенья подряд они должны отсидеть без отпуска в пансионе.

С наказанными остается дежурная классная дама младшего отделения, и Ия свободна от своих обязанностей на два дня. Целых два дня отдыха! Какое счастье! Она может принадлежать себе вполне, может почитать на досуге, написать письма домой. Ей так хочется побеседовать с ее дорогой старушкой! Ведь теперь ее мать совсем одинока! Катя уехала в С. учиться. Яблоньки опустели... Что-то подделывает там одна ее бедная старушка?..

Глаза Ии заволакиваются слезами. Но губы улыбаются бессознательной улыбкой. И так необычайна эта милая беспомощная, совсем детская улыбка на ее замкнутом, не по

летам строгом серьезном лице!

Она точно чувствует подле себя присутствие матери. Видит ее добрые глаза... Ее исполненное любви и ласки лицо.

– Июшка, родная моя! – слышит, как сквозь сон, молодая девушка...

А кругом нее такая красота! Последняя сказка лета тихо замолкает в предсмертном шелесте листьев, в чуть слышном плеске воды крошечного озера, в шуршанье опавшей листвы, золотой и багряной, под легкими стопами Ии.

И это чудное мягкое сентябрьское солнце, ласковыми лучами пробивающееся сквозь заметно обедневшую чашу сада!

Быстрыми шагами идет Ия по прямой, как стрела, садовой аллее. И кажется девушке, что она сейчас не в далеком от ее милых Яблонек большом чужом городе, а там у них, за красавицей Волгой, в родных степях, окруженных лесами. Что стоит ей только смахнуть туманящие глаза слезы, и она увидит мать, Катю, всю хорошо знакомую домашнюю обстановку, работницу Ульяну, скромный шалашик в саду...

Но что это? Разве она действительно дома? Или это сон?

Ия сильно, до боли стискивает руки, стискивает так крепко, что хрустят ее нежные пальцы... Боже мой, да неужели пальцы... Боже мой, да неужели же она не спит? Прямо навстречу к ней стремительно бежит небольшая, хорошо ей знакомая фигурка. Черные волосы сверкают ей навстречу. Радостно улыбаются знакомые, пухлые губки...

– Катя! Катя моя! – вскрикивает, не помня себя от радости, Ия и сама, как девочка, бросается навстречу сестре.

– Ия! Милая Ия!

Сестры замирают в объятиях друг друга.

– Катя! Катюша, черноглазка моя милая! Какими судьбами ты здесь? Ты ли это? Катя! Родная моя!

– Я, Иечка, я... Своей собственной персоной! Неужели же не узнала? – со смехом, перемешанным со слезами, бросает шалунья, и целый град поцелуев сыплется на лицо старшей сестры.

– Да как же ты сюда попала, Катечка? – все еще не может прийти в себя Ия.

Захлебываясь от волнения, торопясь, с дрожью радости. Катя порывисто поясняет старшей сестре причину своего появления здесь так неожиданно, почти сказочно и невероятно.

– Ты подумай, – словно горох, сыплются у нее изо рта слова, – ты подумай только, Иечка, мы с мамой ничего не знаем, ничего не подозреваем, и вдруг письмо от Лидии Павловны... Как снег на голову... Понимаешь? Не письмо даже, а целый хвалебный гимн вашему высочеству, Ия Аркадьевна. Так, мол, и так: пишет, что ты девятое чудо мира, восьмое, конечно, это – я, – не может не вставить с лукавым смехом шалунья, – пишет, что так довольна, так довольна тобою и твоими педагогическими способностями, которые ты проявила уже за первую неделю твоего пребывания здесь, что

во что бы то ни стало хочет поощрить тебя, а кстати и снять часть обузы по моему воспитанию с твоих плеч. Она узнала откуда-то, что ты теперь единственная кормилица семьи, что ты платишь за меня и за учење. И вот она предложила маме прислать меня к вам в пансион, где любезно будут обучать меня всякой книжной премудрости безо всякой платы, сиречь даром, за твои почтенные заслуги перед обществом. Понимаешь?

Да, Ия поняла. Поняла отлично, какой сюрприз был приготовлен ей начальницею пансиона.

И восторженная радость, радость впервые со дня ее появления здесь, в этих стенах, затопила мгновенно душу молодой девушки!

– Так ты поселишься со мной? Ты будешь жить со мной? И учиться у меня на глазах? – то отстраняя от себя Катю, то снова привлекая ее к себе, заговорила новым, мягким, растроганным голосом Ия. И куда-то исчезла сразу сейчас ее обычная сдержанность, ее замкнутость и показная суровость.

Со слезами радости на глазах обнимала она сестренку, расспрашивала о матери и о домашних делах.

Болтая без умолку, Катя рассказала все. И как она ехала одна от самого Рыбинска, куда проводил ее соседский арендатор, ездивший в Рыбинск по делам князя Вадберского, и как она заезжала в С. прощаться со своими бывшими товарищами, и сколько стихотворений они написали ей на проща-

нье в альбом...

Оживленно беседуя, сестры не заметили, как подошел час обеда. Опомнились они лишь тогда, когда, оглушительно раздаваясь на весь сад, зазвенел звонок. Но прежде, нежели вести сестренку в столовую, Ия, остановив Катю на минуту в саду, зашла к Лидии Павловне поблагодарить ее за сюрприз.

– Вы сами не подозреваете даже, как много вы сделали для меня. Я не знаю, как отблагодарить вас за это, – говорила растроганным голосом молодая девушка, крепко сжимая маленькую сухую руку начальницы.

– А между тем вы не можете больше, чем кто-либо другой, быть полезной и тем отплатить за ту ничтожную услугу, которую, по вашим словам, я оказала вам, – сопровождая свои слова обычной холодной улыбкой, светской женщины, произнесла Лидия Павловна, – помогите мне в деле воспитания моих сорванцов-девиц, и мы квиты...

Новым пожатием руки Ия подтвердила свою готовность исполнить желание начальницы и снова вернулась в сад, где Катя с нетерпением ждала ее возвращения.

– Идем обедать, Катюша. Я познакомлю тебя с двумя пансионерками твоего класса, которые остались на праздники здесь. В понедельник же ты увидишь остальных. После обеда необходимо переодеться с дороги, а там я представлю тебя Лидии Павловне. Пока же идем!

И, обвив рукою плечи сестры, Ия повела Катю в столовую. В то самое время, пока обе девушки спешили к крыльцу

здания по главной дорожке сада, близ того места, где они только что находились, зашевелились кусты волчьей ягоды, и среди уцелевшей желтой листвы мелькнули сначала две пары рук, а вслед за ними высунулась из-за кустов пара юных головок, одна черненькая, как жук, другая пепельно-русая.

– Трогательная историйка, нечего говорить. Ну и сестричка у нашего идолица! Хороша! Нет слов! – презрительно оттопыривая заячью губку, произнесла одна из появившихся из-за кустов девочек. Это была Шура Августова.

Она вместе со своей неразлучной подругой Маней Струевой прошмыгнули сюда следом за Ией после завтрака, все время наблюдали за новой наставницей и были свидетельницами происшедшей у них на глазах встречи сестер.

– А мне она очень понравилась, эта черноглазая смуглая Катя. Она удивительно симпатичная, и по части проказ от нас с тобой не отстанет, – возразила подруге Струева.

– Воображаю! Уже по одному тому тихоней сделается, чтобы дражайшей своей сестричке, идолицу этому, попомни мои слова, все, что ни делается в классе, на хвосте переносить ей же все станет...

– А Надя Копорьева отцу переносит разве?

– То Надя... А эта, увидишь, кляузницей будет первый сорт.

– Послушай, Шура, зачем ты клеветешь на совершенно незнакомого тебе человека? – возмутилась Маня. – И почему у тебя столько вражды к Ие Аркадьевне? А между тем,

ты слышала, что говорила ей сейчас эта черноглазенькая? Ия Аркадьевна содержит на своих плечах всю семью. Такая молоденькая и взяла на свои плечи какую ответственность.

– Ну, и глупа же ты, Манька! Молоденькая, а любую старуху за пояс заткнет. Небось, приструнит нас эта молоденькая, так приберет к рукам, что и пикнуть не успеем. И девчонка эта, я уверена, прислана сюда, чтобы шпионить за нами.

– Шура! И не стыдно тебе! Я ненавижу, когда ты возводишь напраслину на людей, – в запальчивости вырвалось у Струевой.

– Меня ненавидишь? Меня? Своего друга? Из-за какой-то пришлой девчонки?

– Не тебя, а твои поступки!

– Ага! Мои поступки ненавидишь? Ну, так убирайся от меня, – сердито бросила, задыхаясь от гнева, Августова. – Я сама тебя ненавижу и знать не хочу. И дружи с твоей черноглазой красавицей, с деревенщиной этой, а от меня отстань! Я да Зюнгейка только и остались верными нашей Магдалиночке, а вы давно изменили ей.

– Шура! Шура!

– Изменили, да! Нечего тут глаза таращить: Шура! Шура! – передразнила она со злостью Струеву. – Всегда была Шурой, а изменницей никогда не была. И знать тебя больше не хочу. Не друг ты мне больше! Да, да, да! Не друг!

И не помня себя от охватившего ее гнева, Августова, сердито сверкнув глазами на Маню, бросилась чуть ли не бегом

от нее.

Маленькая Струева с трудом попевала за нею. Уже не впервые со дня ее дружбы с Августовой Маня убеждалась воочию в несправедливости последней. Но девочка души не чаяла в своем друге и старалась возможно снисходительнее относиться к недостаткам – Шуры. Слово «подруга» являлось для нее законом. Они и учились вместе, и шалили вместе. Мягкая по натуре, веселая, жизнерадостная Маня подпала сразу под влияние своей более опытной сверстницы. Деликатная и чуткая, не способная ни на что дурное, она, однако, стяжала себе славу первой шалуньи благодаря той же Августовой, постоянно подзадоривавшей ее на всякие проказы и шалости. И сегодня тоже Шура подговорила Маню пойти подглядывать за «идолищем», как она прозвала Ию.

Но сейчас Маня убедилась воочию, что ее любимица далеко не тот светлый человек, каким она себе представляла Шуру. К тому же черноглазая провинциалочка, так тепло и задушевно встретившаяся со старшей сестрой и сама оказавшаяся такой симпатичной и ласковой, шевельнула хорошее чувство в маленьком сердце Струевой. И ее потянуло поближе познакомиться с этой бодрой, свежей, не испорченной столичными привычками Катей, прилетевшей сюда, как птичка, из далекого приволжского захолустья.

Нечуткость Шуры ее поразила. Тем более поразила, что – Маня знала это прекрасно – та же Ия Аркадьевна выхлопотала им обоим сокращение наказания у Лидии Павловны, и

она же «покрыла», оправдала Шуру перед начальницею, когда та не пожелала просить у нее прощения.

И вдруг эта непонятная несправедливость и злость по отношению к молодой девушке, ее заступнице!

Все существо Мани бурно протестовало, и престиж Шуры Августовой падал все ниже и ниже в ее глазах.

Во время обеда Струева не без смущения наблюдала, как, пользуясь минутой, когда отворачивалась Ия Аркадьевна, Шура передразнивала все движения и манеры Кати, сидевшей с ними за одним столом, и всячески задевала ее.

С Катей Маня Струева познакомилась очень быстро и чувствовала себя в ее обществе так свободно и легко, точно она давно-давно знала эту веселую, бойкую черноглазую девочку, мило рассказывавшую ей своим типичным волжским говорком о далеких Яблоньках, о шалаше, построенном ею в саду собственноручно, и о двух коровах, Буренке и Беляночке, и о работнице Ульяне, и о соседнем Лесном, где постепенно приходил в упадок роскошный палаццо князей Вадберских.

Девочки сразу сошлись и разговорились.

Сошлась, против ожидания Ии, очень быстро Катя и со всем своим отделением, явившимся через два дня в пансион.

Открытая, веселая натура девочки и ее неподкупная простота сразу привлекли к ней сердца пансионерок.

К тому же сами пансионерки считали себя несколько виноватыми перед Ией причиненными ей неприятностями и

расположением к младшей сестре как бы хотели оправдать себя в глазах старшей.

Уже с первых дней Ия сумела против воли пансионерок заставить уважать себя. Своей врожденной тактичностью она отпарировала несправедливые нападки воспитанниц и постепенно примиряла их со своей особой. Сейчас же младшая сестренка постепенно помогала ей в этом, посвящая своих одноклассниц в свою интимную домашнюю жизнь, главной героиней которой была та же Ия. Теперь образ молодой девушки осветился в глазах пансионерок совсем с другой стороны. Ее благородный поступок по отношению семьи не был уже тайной для девочек. Откровенная натура Кати не умела скрывать что-либо. Пансионерки совершенно иначе смотрели теперь на молоденькую воспитательницу. Они признали ее. А этого было уже достаточно. Образ Магдалины Осиповны постепенно отодвинулся. Сперва инстинктивно, потом сознательно воспитанницы поняли здоровую, сильную натуру Баслановой. Поняли и преимущество ее над мягкой, безвольной и ничтожной, хотя и доброй, Магдалиной Осиповной. И, помимо собственной воли, потянулись к первой. Только две девочки четвертого отделения, самые горячие поклонницы уехавшей Вершининой, питали по-прежнему к Ие ни на чем не основанную упорную вражду.

Эти девочки были: Шура Августова и Зюнгейка Карач.

Глава X

Каждые два месяца в пансионе госпожи Кубанской происходили письменные испытания по французскому языку. Неимоверно строгий и требовательный monsieur Арнольд, учитель французского языка, обращал особенное внимание на письменные работы воспитанниц. Он придавал им огромное значение.

Недоверчивый, очень опытный в деле школьного образования monsieur Арнольд, зная привычки слабых воспитанниц подсматривать у своих более сильных соседок, рассаживал слабых учениц в часы письменных испытаний за отдельными столиками. И переводы, которые задавались для классных работ, он брал не из учебных пособий: всевозможных Марго, Манюэлей, а составлял сам. Причем ключ к переводу передавал инспектору. Так было заведено испокон веков, и monsieur Арнольд ни разу не отступил от раз навсегда заведенного им обычая. А работы он задавал очень трудные и сбавлял баллы за малейшую ошибку.

Еще за неделю до письменной работы по французскому языку весь 4-й класс сильно волновался. Особенно беспокоилась Зюнгейка Карач. По-французски она ровно ничего не знала, не могла и двух слов написать правильно на этом языке. А вдобавок ко всему она недавно «схватила» пару по русскому сочинению и, если то же повторится и по французско-

му языку, то, чего доброго, к концу года ее, Зюнгейку Карач, маленькую башкирку из вольных уфимских степей, не переведут в следующий класс.

Этого больше всего боялась Зюнгейка. Боялась отца, который, наверное, рассердится и будет бранить ее, а за ним и мать. И станет так стыдно Зюнгейке, так неловко смотреть в глаза им всем, а особенно крестному отцу, генералу, который вывез ее сюда из ее родимых степей и к которому она ходит в отпуск по праздникам и воскресеньям.

Впрочем, волнуется не одна Зюнгейка Карач, волнуется добрая половина класса. Monsieur Арнольда боятся больше всех других учителей. Он щедр на единицы, и ему ничего не стоит «срезать» на экзамене воспитанницу. Даже желчный Алексей Петрович Вадимов кажется ангелом доброты и кротости по сравнению с ним.

Маня Струева, Шура Августова, Копорьева, Глухова, Ворг и другие дрожат при одном напоминании о предстоящей письменной работе еще задолго до рокового дня.

И вот он наконец приблизился, этот роковой день.

Накануне его долго не ложились спать в дортуаре четвертого отделения. Пансионерки собирались в группы, тихо совещаясь о предстоявшем им завтра поражении.

А что поражение будет, в этом ни у кого из них не было ни малейшего сомнения.

Monsieur Арнольд казался все последнее время особенно сердитым и взыскательным.

– Совсем точно с цепи сорвался, – говорила на его счет Зюнгейка.

В этот вечер она казалась особенно взволнованной и кричала и суетилась больше других, пользуясь отсутствием классной дамы. Ии не было сейчас в дортуаре. Она присутствовала на одном из еженедельных заседаний, происходивших каждую среду в квартире начальницы. Присутствовали там все учителя, инспектор и классные дамы других отделений пансиона.

– Не знаю, что бы я дала, лишь бы получить французский ключ к завтрашней работе. Небось, Арнолька у себя в кармане его держит. Никакими силами его у него не извлечь, – сердито ворчала Зюнгейка, заплетая на ночь свои жесткие, черные, как смоль, непокорные волосы.

– А что, mesdames, что если закричать: «Пожар! Горим!» На весь пансион, благим матом. Вся конференция повскачет с мест, засуетится, замечется... А тут подкрасться к Арнольду и вытащить у него из кармана французскую тему перевода, – фантазировала Августова, блестя разгоревшимися глазками.

– Как бы не так, держи карман шире, – приближаясь к группе пансионерок, проговорила Таня Глухова, прищуривая на Шуру свои маленькие глазки, – наверное, французского перевода давно нет у Арнольда. Он передал его еще утром Георгию Семеновичу.

– Как? Уже? Ты все сочиняешь, Глухарь! Неправда! – по-

слышались недоверчивые голоса.

– И совсем не сочиняю, – обиделась Таня. – Я отлично видела, как Арнольд передавал инспектору какой-то конвертик. И сейчас, я знаю наверное, тема уже в столе у инспектора. Надя сама говорила, что он кладет всегда ключ перевода в письменный стол.

– Надя говорила? Надежда... Копорьева?.. Правда? Да где же она? Позовите ее! Позовите Надю Копорьеву! – затараторили нетерпеливые девочки.

Красная, смущенная Надя предстала перед подругами, пряча за стеклами очков застенчивые глаза.

– Что вам надо от меня, mesdames? – осведомилась она.

– Ты знаешь, где лежит сейчас ключ к завтрашней работе? В письменном столе твоего отца? Да? – внезапно обрушивается на нее Шура Августова.

– Знаю... так что же?

И глаза под очками устремляют на говорившую удивленный взгляд. И не только одна Копорьева, но и все остальные пансионерки смотрят изумленно на Шуру. И в голове каждой из девочек мелькает одна и та же мысль:

– Неужели же? Неужели у этой отчаянной Августовой мелькнула мысль совершить дерзкий нечестный поступок?

Но почему же нечестный, однако? Разве сам Арнольд справедливо поступает, задавая такие ужасно трудные темы и мучая всех придирками и своим чрезмерным педантизмом. Ведь он назло им всем тиранит их этими невозможны-

ми письменными работами. И кому они нужны, эти работы, которые, кроме одних единиц, не приносят ничего?

И поэтому, когда Шура Августова с возбужденно горящими глазами подходит к Наде Копорьевой и шепотом говорит:

– Ты должна достать во что бы то ни стало у твоего отца тему перевода и дать нам ее, хотя бы на один только час, – ее словам уже никто не удивляется. Даже Ева Ларская, протестовавшая постоянно против всех «выпадов» такого рода и любившая оставаться одною при особом мнении, молчит на этот раз.

Арнольд давно скомпрометировал себя в глазах класса своей несправедливостью и жестокостью, и провести его хотя бы единый раз в жизни никто из девочек не считает за грех. И только по лицу одной Нади Копорьевой разливается ужас после того, как она узнает о намерении класса.

– Как хотите, mesdames, но я ни за что не полезу в стол отца и не стану выкрадывать тему, – говорит она дрожащим голосом, догадываясь сразу, какой услуги требует от нее Шура.

– Выкрадывать – какое громкое слово! Подумаешь тоже, – далеко не искренним смехом рассмеялась последняя. – Да разве это называется выкрасть, если взять на несколько минут тему с тем, чтобы переписать ее и снова положить обратно в стол?

– Но ведь...

– Безо всяких но, пожалуйста. Если сама не хочешь сде-

лать этого, помощи, по крайней мере, классу. Или и этого не пожелаете сделать, достоуважаемая госпожа профессорша? – иронизирует Августова, и ее заячья губка презрительно оттопыривается.

– Решайся же, решайся! – кричит Наде Зюнгейка так громко, что на нее шикают со всех сторон.

– Нечего сказать, хорошее, однако, вы задумали дело, – говорит Маня Струева, оглядывая толпившихся и взволнованных девочек.

– Я с тобой согласна – дело неважное, – поддержала ее Катя.

– Ну вот, еще две святоши решили, так тому и быть, значит, – внезапно закипает гневом Зюнгейка, – а того не понимают, что самому Арнольду любо единицами сыпать... Одна единица, две единицы, три, четыре, много их, как снега зимою. Сколько звезд в небе, столько единиц у француза в журнале, – неожиданно нелепым, но образным сравнением под общий хохот заключает она.

– Оставь их, Зюнгейка, – презрительно машет в сторону Кати и Струевой руками Шура, – разве не видишь, сколько в них святости объявилось вдруг? Нашу Манечку с тех пор, как появилась Катечка, и узнать невозможно. За добротельность ее живой на небо возьмут.

– Ну, пожалуйста, Августова, оставь их в покое, – неожиданно подняла голос Ева, – действительно, Струеву узнать нельзя с тех пор, как она раздружилась с тобою. И учится

лучше, и ведет себя прекрасно, а когда и шалить случается совместно с Катей Баслановой, то никому от этих шалостей вреда нет. Между тем, как...

Но Еве пришлось замолчать, не докончив фразы.

– Не твое дело, – грубо оборвала ее Августова, – и нечего тут мне проповеди читать. Сама не лучше. Отовсюду повыгоняли. Уж молчи! Куда полезнее было бы, нежели нравоученьями-то заниматься, – сообща придумать, как нам раздобыть тему, хоть на полчаса.

– Шура права, давайте думать! – слышались отдельные голоса, и группа девочек сомкнулась вокруг Августовой, стараясь найти выход из неприятного положения и облегчить себе задачу на завтрашний день.

Надя Копорьева, Ева, Глухова, Зюнгейка находились тут же.

Только Катя и маленькая Струева оставались в стороне. Им как-то не по душе пришелся задуманный поступок. Впрочем, от класса они не могли да и не хотели отступить.

Это значило бы идти против правила товарищества, столь распространенного среди учащихся. И девочки прекрасно сознавали это.

Ночь... Пробило мерных одиннадцать ударов на стенных часах в коридоре, и снова наступила прежняя тишина. В маленькой, состоящей из трех комнат квартирке инспектора классов, находящейся тут же, в здании пансиона, царит та же ничем не нарушаемая тишина.

Сам Георгий Семенович еще не вернулся с затягивавшегося обычно до полуночи заседания.

Прислуга спит в крошечной кухне. Одна Надя, бодрствовавшая в этот поздний час, нервно шагает по гостиной с целой бурей в душе.

– Что же они так долго? Почему не идут?

Ее сердце стучит так громко, что девочке кажется, что она слышит его неровное сильное биение. Или это стучит маятник на часах?

В своем волнении Надя едва сознает действительность.

Уж скорее бы приходили! Скорее кончалась бы эта лютая мука ожидания!

Сама она категорически отказалась участвовать в похищении темы. Она не могла бы ни за что на свете обмануть своего любимого старенького отца. Но открыть дверь «тем», «отчаянным», Надя все же обещала после долгих колебаний и сделок с собственной совестью. Обещала также и указать им дорогу в отцовский кабинет.

Но чего же они ждут, однако? Почему медлят? Или отменили свое безумное решение? Или изобрели новый исход?

Из бледного лица Нади, постепенно краснея, становится алым, как кумач, и с каждой минутой все сильнее и сильнее бьется неугомонное сердце.

Вдруг легкое движенье ручки у входной двери в передней оповестило девочку о приходе «заговорщиков».

– Зюнгейка? Августова? Вы? – Прежде, нежели открыть

дверь, дрожащим голосом спрашивает Надя.

– Мы! Мы! Отвори скорее, не бойся!

Дальше все происходит как во сне. Надя, открывши сначала входную дверь, потом другую, дверь отцовского кабинета, и пропустив вперед обеих посетительниц, протягивает дрожащую руку к выключателю. Маленькая комната с большими книжными шкафами освещается сразу.

Глаза трех девочек сразу приковываются к письменному столу! Увы! Он заперт на ключ... Все ящики до единого..

– Вот незадача-то! – сорвалось с губ оторопевшей Зюнгейки.

Вся дрожа и волнуясь, Надя повторяет только одно:

– Вы видите сами теперь, что нельзя достать темы. Видите, – заперто на ключ. Уходите же, уходите же, ради Бога, скорее! Вдруг заседание сегодня кончится раньше, отец вернется и застанет вас.

Но Шура Августова только усмехнулась в ответ на эти слова.

– Уйти всегда успеется. Георгий Семенович так скоро не вернется. Нам же необходимо употребить все усилия, прежде нежели уйти.

Тут она опустила руку в карман и вытащила из него связку с ключами. С этой связкой в руке Шура подошла к столу.

– В котором ящике прячет обыкновенно Георгий Семенович темы? – принимаясь хозяйничать у замка, спросила она.

Надя молча указала рукой на правый ящик. Ей было без-

гранично тяжело в эту минуту. Не хотелось обманывать отца и в то же время жаль было подруг, обреченных завтра на получение дурных отметок.

– Только скорее! Ради Бога, скорее! Папа каждую минуту может вернуться с заседания, и тогда...

Легкий крик Шуры заставил ее вздрогнуть всем телом. В тот же миг бледное до прозрачности лицо с выступившими на лбу капельками пота глянуло на нее снизу.

– Я... я... – зашептала испуганная насмерть Августова, – я сломала ключ... В замке осталась одна бородка!.. Что делать? Ах, господи, что-то будет теперь!

– Аллах мой, все пропало! – чуть ли не в голос завопила Зюнгейка.

Надя не нашла даже силы что-либо сказать. Бледная, без кровинки в лице стояла она над злополучным ящиком. Зубы ее нервно стучали. Губы беспомощно двигались. Она вся тряслась.

Опомнилась первая Шура.

– Дело дрянь, но реветь все же не следует. Слезами горю все равно не помочь, – начала она при виде двух крупных слезинок, выкатившихся из глаз Копорьевой, – но и не пропадать же мне одной по милости всего класса! Понятно, надо говорить теперь, что все двадцать человек были здесь и каждая потрудилась вдоволь, открывая ящик. И кто из нас сломал ключ, неизвестно. Все открывали, – все сломали, вот и все. А теперь бежим скорее, Зюнгейка! А то инспектор

вернется, пожалуй, и тогда пропали наши головушки ни за грош.

Она первая кинулась к двери. За нею поспешила ее спутница.

Надя снова осталась одна. Теперь никто не мешал ей плакать. И упав головой на стол, она, не будучи в состоянии сдерживать слез, горько разрыдалась.

Ей было бесконечно жаль старика отца. Она знала, что поступок пансионерок больно отзовется на этом достойном и благородном человеке.

Надя прекрасно знала и чрезвычайную чуткость Георгия Семеновича в вопросах чести, а этот поступок, с неудавшимся похищением темы, казался ей самой таким недостойным и некрасивым, хотя она и оправдывала подруг, обвиняя во всем Арнольда.

Но как взглянет на это дело отец? Она так любила своего одинокого старичка, пожертвовавшего ей, Наде, всей своей жизнью. Копорьев рано овдовел и, болезненно любя дочь, не пожелал жениться вторично, чтобы не дать своей Надюшке, как он всегда называл дочь, мачехи. Он сам воспитал, вырастил Надю безо всяких нянек, бонн и гувернанток, трогательно заботясь о ней и живя и работая исключительно для нее одной.

И вот такого-то отца она хотела обмануть вместе с другими чужими ему девочками.

При одной этой мысли слезы Нади полились сильнее и пе-

решили в рыдания.

Среди этих рыданий она не слышала, как позвонили в прихожей, как пробежала мимо отворять дверь разбуженная звонком прислуга, как зазвучали в соседней с кабинетом гостиной шаги, и опомнилась лишь тогда, когда чьи-то руки обвили ее плечи, а ласковый голос спросил с тревогою:

– О чем, Надюшка, родная моя, о чем?

Вслед за тем произошло то, чего меньше всего ожидала сама девушка. Надя кинулась к отцу, прижалась к его груди и рассказала ему все, решительно все, без утайки.

Взволнованный горем дочери, Георгий Семенович совершенно растерялся в первую минуту, узнав обо всем случившемся. Потом глубокое возмущение сменило охватившее его в первую минуту беспокойство.

Возмущение против поступка воспитанниц.

Но он не хотел причинять нового страдания Наде и старался лаской, как умел, утешить ее.

На следующий же день после письменного урока французского языка, лишь только monsieur Арнольд отобрал у класса бог весть как сделанные воспитанницами переводы и с видом торжествующего победителя вышел из отделения, туда вошел маленький с седыми бачками старичок.

Это был Георгий Семенович Копорьев. Он подошел к первой парте, оперся на нее руками и взволнованно заговорил:

– Мне известно, что вы были у меня вчера на квартире, чтобы вынуть у меня из письменного стола ключ к француз-

кому переводу. Кто был из вас, для меня безразлично. Меня поразила самый факт. Благодаря одной только счастливой случайности дурной поступок вам не удался и правда вышла наружу. Сама судьба оказалась справедливым судьей. Судить же мне самому о степени порядочности вашего проступка не приходится. Предоставляю вам это сделать самим. Что же касается меня, то мне совестно огорчать Лидию Павловну такую неприятною новостью. Она так верит в вашу корректность, что я предпочитаю предать забвению весь этот печальный инцидент, жалея разочаровывать ее в ее детях.

Старик инспектор замолчал и обвел притихших воспитанниц грустным, полным укора взглядом.

Глухое молчание было ответом на его слова.

И вдруг, не сговариваясь, неожиданно прозвучало в разных концах комнаты, сначала тихое, потом все более настойчивое и громкое:

– Простите... Георгий Семенович, простите нас!

А через несколько секунд весь класс, как один человек, произнес придушенными волнением в общем хоре голосами:

– Мы умоляем вас простить нас, Георгий Семенович. Ради Бога, простите! Мы умоляем вас об этом!

И ни одна юная головка не задумалась над тем, что этот самый маленький с добрым лицом и седыми бачками человек прибегнет к какой-либо каре, к какому-либо возмездию, вполне заслуженному на этот раз самими девочками. И не из страха перед наказанием так искренне просили они у него

прощенье. Было просто жаль этого доброго, мягкого человека, которого искренне любил весь пансион.

Смягченный и растроганный старик невольно просиял.

– Смотрите, дети, не огорчайте же меня подобными поступками, – произнес он твердым голосом и, улыбнувшись расстроенным девочкам ободряющей улыбкой, вышел из класса.

– Ангел! – завопила ему вслед Зюнгейка, срываясь с места.

– Неужели и ты, Катя? Неужели и ты? И ты могла пойти туда, вместе с ними? Ты – наша Катя, мамина дочка, моя сестренка... моя гордость!.. Такая светлая, такая благородная душа!

Ия говорила это, стоя в углу коридора перед младшей сестренкой, и своими пронизательными глазами строго смотрела в черные глаза Кати.

– Нет, Ия, нет, ради бога!.. Не смей думать обо мне так дурно! – взволнованно вырвалось из груди девочки. – Ни я, ни Маня Струева, никто из нас не пошел бы на это. А Надя Копорьева даже плакала из-за всей этой истории. Да и все мы не хотели этого делать, а только... – Тут Катя смутилась и прикусила язык. Выдавать Августову и Зюнгейку Карач она не имела в мыслях.

Ия сразу заметила ее смятение.

– Но кто же, в таком случае, кто пошел доставать ключ к переводу? – допытывалась она у сестры. Потупленные чер-

ные глазки Кати поднялись на старшую сестру.

– Не скажу. Не спрашивай лучше, не узнаешь... – И смуглое лицо приняло сердитое выражение, а черные глаза угрюмо блеснули знакомым Ие упрямым огоньком.

Так и не узнала ничего от сестры Ия. Не узнала об инциденте и Лидия Павловна – «сама», как ее называли за глаза пансионерки.

Следствием печальной истории был продолжительный разговор инспектора с monsieur Арнольдом, во время которого добрый старик Копорьев, горячась и доказывая, упрямил не в меру требовательного француза облегчать письменные работы воспитанниц и задавать им менее трудные переводы.

И monsieur Арнольд, после долгих колебаний, скрепя сердце уступил ему в этом.

Глава XI

Все ближе, все настойчивее надвигается осень. Короче становятся студеные, но все еще ясные дни. Длиннее черные октябрьские ночи. Дожди, на счастье, редко выпадают в этом году.

Холодные утренники и скупое на ласку, только светящее, но не греющее солнце напоминают о скором появлении зимы.

Уже более месяца незаметно прошло со дня водворения Ии в пансион.

Она постепенно привыкла к своей новой роли. Шаг за шагом завоевывала молодая наставница симпатию воспитанниц и сумела заставить полюбить себя. А присутствие младшей сестренки примиряло отчасти Ию с ее далеко не легкой службой классной наставницы.

Ясный студеный полдень. Только что наступила большая перемена между завтраком и следующими за ним уроками, во время которой воспитанницы гуляют по саду.

Этот сад очень изменился со дня приезда в пансион Ии.

Тогда еще зеленые и пышные, только кое-где тронутые блеклыми красками осени стояли кусты и деревья.

Теперь в начале октября листья почти облетели. Только ярко рдеют кое-где налитые пурпуром сочные ягоды рябины. Особенно заманчиво алеют они над маленьким прудом. Све-

сились кроваво-красными гроздьями над самой водой и повторяются в ней своим красивым, смеющимся отражением.

Эти гроздья особенно привлекают взгляды пансионеров с той минуты, как Катя Басланова рассказала им, что рябину, уже тронутую утренниками, можно снимать с дерева, слегка отваривать в сахарном сиропе и сушить в духовой печи.

– Получается удивительно вкусное лакомство. Так мама у нас всегда приготавливала в Яблоньках, – заключила девочка, при одном воспоминании о домашнем десерте облизываясь как котенок.

– А ты говоришь, утренники уже тронули рябину? – живо заинтересовалась ее словами Маня Струева.

– А то нет? Видишь, какие ягоды стали, как будто сморщенные немножко. Как раз пора такие же снимать.

– Ну вот и отлично. Будем сшибать их палками. Только жаль, что нам нельзя подходить близко к пруду. С тех пор, как утонула в нем эта несчастная Анна, нам не разрешается даже гулять по прилегающей к берегу дорожке. – И Маня Струева невольно вздохнула при этих словах.

Будь это раньше, когда она дружила с Августовой, Маня не задумалась бы ни на минуту над тем, как раздобывать алые прекрасные грозди, ну, а теперь... Поневоле приходится смириться: она близко сошлась с Катей...

Сама Катя Басланова, шаловливая и подвижная по натуре девочка, со дня отъезда Ии в Петербург круто изменилась.

Она являлась как бы заступницей матери в отсутствие

сестры. Забыты были прежние шалости и проказы. Катя остепенилась, стала серьезнее. И сейчас, в пансионе, она, несмотря на свою жизнерадостность и живость характера, так и бившую у нее ключом, была на самом лучшем счету у начальства.

Под влиянием Кати притихла и недавняя «премьерша от шалостей» Струева.

Воспитанницы были вполне правы, что недоразумение, происшедшее у Струевой с Шурой Августовой, послужило на пользу первой.

И сейчас вместо того, чтобы броситься искать по саду папок и камней, которыми можно было бы сбивать на землю алые гроздья рябины, как бы она сделала это в период своей дружбы с Шурой, Маня покорно дала Кате увести себя подалее от заманчивого уголка сада.

Но если маленькая Струева оказалась такой благоразумной особой, Шура Августова далека была от мысли следовать ее примеру.

Со своей новой подругой Зюнгейкой Карач, раболепно исполнявшей все ее капризы и требования, как это делала когда-то Маня, Шура Августова давно уже бродила вокруг пруда, несмотря на строгое запрещение со стороны начальства ходить туда.

Прячась в кустах, за густо разросшимися гибкими ветвями, которые могли прекрасно служить надежной защитой от нежелательных взоров, Шура в сопровождении Зюнгейки,

ни на шаг не отстававшей от нее, поглядывала жадными глазами на заветный уголок.

И не только самый пруд, как запрещенный плод, притягивал к себе Шуру. Ее еще больше привлекали ягоды рябины, соблазнительно алевшие среди осенней листвы.

– Ты слышала, что рассказывала Басланихина сестричка? – шепотом обратилась она с вопросом к Зюнгейке. – Слыхала? Сначала дожждаться мороза. Пусть тронет ягоды. Когда сморщатся, тогда и снимать...

– Палками сбивать! – поправила ее Зюнгейка.

– Зачем палками? Можно руками.

– Как руками? – И глазки башкирки, узенькие, как щелки изумленно поднимаются на лицо Шуры.

– Очень просто. Влезть на дерево и потом снять.

– Да ведь дерево-то над прудом.

– Не все над прудом. Можно сидеть у самого ствола. А ветку с гроздьями притянуть к себе.

– А если увидят?..

– Никто не увидит. Скоро уйдут в класс. А мы можем остаться на несколько минут.

– А Аня?

– Что Аня? Какая Аня?

– Утопленница... Она нас из пруда глядеть будет. Ой, страшно! – И широкие плечи Зюнгейки невольно вздрагивают.

– Вот глупая! Ой и глупая же ты, Зюнгейка! Веришь во

всякую ерунду. Да если бы и послушать тебя, так разве днем-то они, утопленницы, показываются что ли?

– А разве только ночью?

– Фу ты какая, не зли меня!

И Шура сердито топает ногою.

Боже, как сердит ее эта наивная, неразвитая дикарка! Как неинтересна ей, Шуре, эта Зюнгейка с ее ребяческими рассуждениями и как она искренно сожалеет о том времени, когда милая, умненькая Маня Струева, а не эта глупая Зюнгейка, была ее подругой!

Неожиданно раздается звонок, призывающий в классы, и изо всех углов сада по всем его аллеям потянулись большие и маленькие пансионерки.

Вот последняя девичья фигурка поднимается по ступеням крыльца и исчезает за дверью.

Аллеи, недавно еще оживленные звуками голосов и молодым беспечным смехом, теперь снова погрузились в молчание. Сад опустел.

– Ну что же, идем, что ли?

Шура дергает за рукав Зюнгейку и указывает ей глазами на пруд.

– Идем, – после недолгого колебания соглашается та.

– А ты не боишься? – насмешливо усмехается она по адресу башкирки.

– Ну вот еще! Чего бояться? Зюнгейка ничего не боится. В черный погреб за кумысом одна под землю спускается. У

нас, у отца в селении, у каждой избы такие черные погребца под землею роются. В них кумыс гонят и от жары сохраняют. И на лошади не хуже любого малайки (мальчишки) умею скакать по степи, – хвастливо говорит Зюнгейка, совершенно забывая, по-видимому, свои недавние страхи.

– Ну вот, а «идолица» испугалась?

– Не «идолица», а Анну-утопленницу... Я в «это» верю.

– Ерунда! Просто Басланихи трусишь. В примерные девочки, как Манечка наша, метишь попасть.

– Ничего не трушу. Никого не трушу. Грех тебе так Зюнгейку обижать.

– Ну так идем скорее раздобывать рябину. Ты умеешь по деревьям лазить, а?

– Еще бы? И по горам нашим лазила. У нас среди степи и горы есть. Хоть не высокие, да крутые... Так Зюнгейка по ним, как кошка, как кошка, карабкалась.

– Горы не дерево.

– И на дерево сумею. И на дерево тоже. Зюнгейка все умеет, где только ловкость, силу и проворство надо. – И маленькие глазки башкирки горделиво блеснули.

– Ну коли не боишься, идем!

Теперь обе девочки, взявшись за руки, мчатся к пруду. Небольшое озерко в пять сажень длины и в четыре ширины тихо дремлет под осенним солнцем. Деревья и прибрежные кусты роняют на его сонную поверхность опавшие мертвые листья. Отягощенные алыми гроздьями, ветки рябины отра-

жаются в нем.

Шура кидает беглый взгляд на далекие окна пансиона. Слава богу, опасность не грозит с той стороны. Там все тихо, все спокойно. Вероятно, сейчас начнутся уроки. Все рассядутся по местам. Только места их, Шуры Августовой и Зюнгейки, окажутся пустыми. Что будет тогда? Надо поторопиться, однако. Надо скорее нарвать ягод и бежать в класс.

– Живее, Зюнгейка, живее!

Но башкирку не для чего было торопить. Она и так, с быстротой и ловкостью кошки, вскарабкалась на дерево и сидит сейчас на его толстом суку, повисшем над водою.

Ее сильная маленькая рука протягивается к ближайшим ало-красным кистям рябины. Готово – сорвано... Теперь другую, вон ту...

– Скорее, скорее, – стоя под деревом, говорит Шура, переминаясь с ноги на ногу от охватившего ее нетерпения.

Но Зюнгейка как будто и не слышит ее слов. Узкие глазки Карач странно блестят в эту минуту. Лицо, порозовевшее от свежего воздуха, поднято кверху. Душа дикой степнячки, казалось, встрепенулась в ней в этот миг.

Почувяв над собою небо и вокруг себя и под собою гибкие ветви дерева, Зюнгейка в это мгновение как бы слилась с природой. Ведь то же небо, такая же вода и такие же деревья, по которым она лазила с башкирскими малайками их селения, были и там, на ее милой родине, в далеких родных степях. Правда, попадались они редко.

И восторгом, иллюзией свободы повеяло на полудикую дочь степей. Исчезли стены пансиона. Вдали не виднелись уже большие фигуры гуляющих по саду классных дам и воспитанниц, нарушавших гармонию впечатления, и Зюнгейка совсем уже ярко представила себя на воле. Ее смуглое обветренное скуластое лицо сейчас улыбалось счастливой улыбкой, улыбались губы, улыбались монгольские узкие глазки. И, уже забыв о сборе рябины, сложив на груди маленькие смуглые руки, Зюнгейка мечтательно смотрела вдаль, наслаждаясь всеми фибрами существа своей временной свободой.

Ее настроение не могло ускользнуть от внимания Шуры.

– Зюнгейка! Да что с тобою? Ты там заснула, что ли? – нетерпеливо крикнула та.

– А? Что? Заснула? Нет, нет. Я не сплю... – вздрогнув от неожиданности и словно просыпаясь, отвечала девочка, но то же выражение затаенного восторга по-прежнему оставалось на ее лице.

Тогда Августова вышла, наконец, из себя.

– Глупая этакая, сумасшедшая Зюнгейка! Она, кажется, собирается увидеть там на дереве десятый сон... А тут того и гляди «идолище» хватится нас и сюда нагрянет. Ну как мне привести в себя эту глупую Карач?

Шура думает несколько минут, наморща лоб, сурово сомкнув брови. Вдруг лукавая усмешка проскальзывает по ее губам. Глаза ее с минуту шуряются на Зюнгейку. И, приблизившись к самому дереву, на котором темнеет неподвижная фи-

гурка башкирки, она говорит таинственным тоном и голо-
сом, пониженным до шепота:

– Смотри вниз, Зюнгейка! Смотри скорее вниз!

– Что такое? – шепчет изумленная башкирка.

– Боже мой! Да ты не видишь, разве? Это она!

Румянец мгновенно сбегает с лоснящихся щек Зюнгейки. Она сильно бледнеет. Бледнеют даже ее припухлые губы. И холодный пот мгновенно выступает на лбу.

– Кто «она»? Кто? – лепечет она помертвевшими губами.

– Как кто? Неужели не догадываешься? Да смотри же, смотри вниз! Вон торчат из воды ее руки... Вон всплыла голова... Не узнаешь разве? Ведь это Анна!

Короткая секундная пауза, во время которой Зюнгейка глядит вниз расширившимися глазами, и вдруг раздирающий душу крик вырывается из уст башкирки. Ее глаза, округлившись от ужаса, все еще глядят вниз, в зеленоватую воду пруда. Там действительно виднеются чьи-то протянутые руки и бледное лицо... Если бы страх не затуманил в этот миг сознания Зюнгейки, она бы узнала в отразившемся в воде образе свое собственное лицо и фигуру, но испуганная до полусмерти башкирка уже не могла ничего сообразить от страха и, продолжая испускать отчаянные вопли, она всем телом откидывается назад...

Ее движение так стремительно и быстро и так неудачно в то же время. Зюнгейка плохо рассчитала его... Дрогнула гибкая ветка рябины под ее тяжеловатым телом, скользнула

мимо точки опоры нога... Дрожащая рука невольно выпустила из мгновенно ослабевших пальцев соседний сук рябины, и Зюнгейка с новым раздирающим душу воплем смертельного ужаса полетела вниз головой в пруд...

Такой же отчаянный вопль Шуры был ей ответом... На глазах Августовой плотная небольшая фигурка башкирки, с беспомощно распластанными руками, погрузилась с глухим шумом в воду и тотчас же скрылась под ее поверхностью...

Не помня себя, трепещущая всем телом Шура бросилась бежать по берегу, крича диким, отчаянным голосом:

– Спасите! Помогите! Зюнгейка утонула! Спасите! – И, тут же кинувшись на землю, забилась в истерическом припадке. – Зюнгейка утонула!

Этот крик достиг слуха Ии и бежавших за нею девочек. Как раз в минуту падения Карач в воду они уже были на крыльце, вызванные предшествующими воплями Зюнгейки и, не помня себя от испуга, прибежали в сад. Окинув взглядом представившуюся глазам картину, Ия сразу поняла всю суть ужасного происшествия. За садовой площадкой чернел пруд. Расходившиеся на его поверхности круги еще говорили о катастрофе, происшедшей здесь за минуту до этого.

Еще нагляднее говорило о ней распластанное на берегу бьющееся в истерике маленькое тело.

В несколько секунд Ия была у пруда.

Одним быстрым движением поставила она на ноги рыдавшую Шуру... И сильно встряхнув ее за плечи, чтобы приве-

сти в себя, коротко произнесла:

– Где Зюнгейка?

– Утонула! Утонула! Спасите ее! – снова отчаянным голосом закричала Шура.

Не говоря ни слова, Ия подбежала к самому берегу и, быстро осенив себя крестным знамением, не размышляя ни одной минуты, как была одетая в платье, одним прыжком бросилась в воду...

Она умела плавать и нырять как рыба.

Еще в раннем детстве мать научила ее этому. В их лесном озере они купались постоянно с Юлией Николаевной и Катей, и во время этих купаний мать заставляла обеих дочерей совершенствоваться в плавании.

– Бог знает, может быть, впоследствии и пригодится когда-нибудь в жизни, – часто повторяла она.

Когда следовавшие за Ией пансионерки во главе с Катей достигли берега, их глазам предстала следующая картина: Ия, мерно взмахивая руками, плыла по поверхности пруда. Вдруг она неожиданно скрылась под водою.

– Она тонет! Тонет! – вырвалось трепетными звуками из груди нескольких человек. Кто-то отчаянно зарыдал, протягивая руки к пруду. Кто-то закричал пронзительно громко на весь сад...

Вся белая, как известь. Катя, стараясь быть спокойной, проронила прыгающими от волнения губами:

– Нет... Нет... Она не утонет... Она хорошо умеет пла-

вать...

А со стороны крыльца уже спешила Лидия Павловна... Ее постоянное величавое спокойствие изменило ей на этот раз. Все лицо начальницы подергивалось от волнения. Едва передвигая ослабевшими ногами, она спешила к месту катастрофы, с нескрываемым ужасом глядя на пруд.

Два сторожа опередили ее, держа в руках длинные багры, бог весть откуда добытые ими...

Но этих багров им не пришлось пустить в ход... В ту самую минуту, когда испуганная и взволнованная до последней степени Лидия Павловна достигла пруда и смешалась с толпой пансионеров, отчаянно кричавших и плакавших на берегу, на темной поверхности пруда выплыла голова Ии... За головою показалась и вся ее тоненькая фигура. Она усиленно работала правой рукою, тогда как левая прижимала к себе неподвижное тело Зюнгейки.

– Живы! Живы! Они обе живы! – вырвалось одним общим радостным криком у находившихся на берегу людей. Тогда один из сторожей протянул длинный багор Ие... Она ухватилась за него трепещущею рукою... И через минуту уже была на берегу, все еще держа в объятиях Зюнгейку.

Вода текла потоками с обеих девушек. Мокрое платье облепило со всех сторон и дрожащее тело Ии, и неподвижную фигурку Зюнгейки.

– Скорее! Скорее! Спирту... Простыней... Надо ей делать искусственное дыхание... – едва нашла в себе силы произ-

нести помертвевшими синими губами Ия, бережно опуская спасенную ею девочку на землю...

Все бросились к ним, окружили их, и начался какой-то сплошной сумбур. Кто-то отчаянно рыдал, обнимая ноги Ии... Кто-то бился в слезах у нее на груди... Кругом нее бегали, суетились, кричали люди...

Лидия Павловна без кровинки в лице сжимала ее холодные, как лед, руки и говорила какие-то слова, которые Ия никак не могла ни понять, ни расслышать.

Откуда-то появились простыни; на них положили мокрую неподвижную с помертвевшим лицом Зюнгейку и куда-то понесли ее... Туда же повели и Ию...

Молодая девушка двигалась как автомат, плохо сознавая, куда ее ведут, что с нею хотят делать... В голове шумело. В ушах стоял звон. Опомнилась она вполне только тогда, когда почувствовала на себе сухое белье и теплоту постели. Теперь Ия лежала у себя за ширмами, в своем уголке. Приехавший врач выстукивал и выслушивал ее самым добросовестным образом.

Лидия Павловна с тревогой ждала его приговора.

– Ну что? Она не простудится? Не заболит? – тревожно по окончании осмотра обратилась к нему начальница.

– Не волнуйтесь, не волнуйтесь, пожалуйста, будем надеяться на хороший исход. Авось так несвоевременно принятая ванна не принесет вреда барышне, – ободряюще улыбаясь, говорил доктор.

– А Зюнгейка? Что с нею? Она умерла? – через силу выговорила Ия, продолжая дрожать, как осиновый лист.

– Еще что! Так вот и умерла ваша Зюнгейка, – засмеялся доктор, – нет, милая барышня, так легко не умирают у нас. У вашей Зюнгейки на диво редкостная по здоровью натура. Сейчас я пришлю, если хотите, эту проказницу к вам.

Едва только успел уехать доктор, как в уголок за ширмами пробрался весь четвертый класс во главе с Катей, трепетавшей за здоровье сестры. Последняя с плачем обняла Ию.

– Ия! Иечка! Как ты рисковала собою! – могла только пролепетать потрясенная девочка.

– Вы правы, дитя мое, ваша сестра рисковала собственной жизнью и здоровьем ради спасения Зюнгейки, – торжественно произнесла Лидия Павловна и, обращаясь ко всем пансионеркам, добавила: – С этих пор, дети, вы должны еще больше ценить вашу молодую наставницу, ее светлую, самоотверженную душу, ее на редкость благородное сердце. Зюнгейка Карач! Где ты?

Из толпы пансионерок выдвинулась сконфуженная башкирка, и прежде нежели кто-либо мог удержать ее, она кинулась к ногам Ии, прижалась к ним головою и, обвиняя руками ее колени, прорыдала, едва выговаривая слова:

– Прости меня, алмазик мой, прости, сердце мое, Аллах мой! Была глупа Зюнгейка, тебя не понимала... За Магдалиночку была зла... А теперь сама больше жизни любить тебя буду и другим велю... Да, да, и другим, и Шуре...

– И Шуре! – машинально повторила Ия, и вдруг вспомнила, как эта самая Шура Августова также плакала там, на берегу пруда.

– Но где же Шура, где Августова? Где? – задала вопрос Ия, не видя ее среди окружавших ее кровать взволнованных и потрясенных девочек.

Шуры Августовой не было здесь. Она отсутствовала. Не было ее ни в классе, ни в рекреационной зале, ни в коридорах, куда бросились ее искать. Кто-то надумал заглянуть в окно... Так и есть, ее одинокая фигура все еще темнела на берегу пруда, всей своей позой выражая глубокое отчаяние... Шура не решалась, казалось, подойти теперь к пострадавшей по ее милости Ие.

К чести Августовой надо было сказать, что она ни одну минуту не задумалась над вопросом, выдаст или не выдаст ее дурной поступок, повлекший за собой такие печальные последствия, Зюнгейка. Нет, один жгучий стыд и полное раскаяние завладели ее вспыльчивым, взбалмошным, но далеко не злым сердцем. И в нем не было места ни трусости, ни страха, ни боязни возмездия.

Глава XII

– Пойдем! Ия Аркадьевна зовет тебя, Шура...

Когда Катя Басланова, произнося эти слова, приблизилась к одиноко молчавшей на берегу жалкой фигурке Шуры, последняя задрожала с головы до ног...

– Нет! Нет! Ни за что не пойду! Пустите! – с отчаянием вырвалось у нее.

Подошедшая к ней вместе с Катей Ева Ларская взяла за руку Шуру и, крепко держа в руке эти холодные, как лед, пальцы, заговорила:

– Ступай без разговоров. Ия Аркадьевна беспокоится и волнуется, не зная, что с тобою. Кстати, ты одна была с Зюнгейкой и сможешь рассказать, значит, как это случилось, что она упала в пруд...

– Ни за что не пойду! Хоть убейте меня, не пойду! Оставьте меня, оставьте! – И Шура снова забилась и исступленно зарыдала, не желая слушать никаких уговоров, ни утешений. Вдруг она стихла... подняла голову и прислушалась...

– Шура! Шурочка! Почему вы не хотите прийти ко мне! – отдаленно и глухо звучал хорошо знакомый Шуру голос.

Синие глаза девочки поднялись кверху, и сквозь застилавший их туман слез Шура Августова увидела Ию.

Молодая девушка стояла у открытого окна дортуара, закутанная шалью поверх легкого ночного пеньюара, с распу-

ценными по плечам белокурыми волосами, не успевшими еще хорошенько обсохнуть, и протягивала ей издали руки. Несмотря на дальность расстояния, своими дальнзоркими глазами Шура успела различить и ласковую улыбку Ии на ее бледном, осунувшемся от всех пережитых волнений лице, и самое выражение этого лица, исполненного прощения.

Сердце девочки внезапно сжалось, потом забилось сильно-сильно, как пойманная в клетку птичка. Светлое видение в окне затопило ее душу жалостью, острой мучительной жалостью до боли, до слез...

Эта бледная девушка с белокурыми волосами, так великодушно простившая, по-видимому, ей, Шуре, все ее злые выходы по отношению к себе, показалась сейчас Августовой каким-то высшим, неземным существом.

И маленькое взбалмошное, но далеко не злое сердце дрогнуло, раскрылось навстречу Ие...

– Ия Аркадьевна, милая, святая, простите! Ради бога простите меня! – вырвалось из самых глубин души Шуры и, рванув свою руку у Евы, она бросилась бежать по направлению к крыльцу, навстречу Ие, ее протянутым рукам, ее раскрытым объятиям...

Жизнь в пансионе госпожи Кубанской, выбитая так неожиданно необычайным событием из своей колеи, снова потекла по гладкому, спокойному руслу. Теперь она уже не казалась Ие тяжелой и неприятной.

Благодаря несчастной случайности, едва не стоившей

жизни спасенной ею Зюнгейке, Ия окончательно завоевала симпатии воспитанниц.

Не осталось больше ни одной души в классе, которая бы не оценила по заслугам молодую девушку. Прежние враги стали ее лучшими друзьями. Особенно Зюнгейка, обязанная жизнью Ие, привязалась к ней со всем пылом своей полудикой порывистой натуры.

А о Шуре Августовой нечего было и говорить. Недавняя беспричинная ее ненависть к Ие заменилась теперь самой горячей и неподкупной привязанностью. С того самого дня, когда рыдающая Шура покаялась во всех своих проступках перед Ией, девочку нельзя было узнать.

Раз дав слово молодой наставнице изменить свой «несносный», как сама Шура называла его, характер, Августова решила свято сдержать данное ею обещание и круто изменилась со дня происшествия у пруда.

Обычные резкие выходки ее исчезли бесследно. Недобрые шалости тоже. Смертельный испуг, пережитый ею, не прошел без последствий для впечатлительной и восприимчивой натуры девочки.

Таким образом, последняя помеха к благополучию Ии в ее новой жизни была устранена. Теперь никакие невзгоды не омрачали уже простиравшегося горизонта ее пансионной жизни. Казалось, что солнце снова засияло и улыбнулось над белокурой головой Ии, как неожиданно новый удар разразился над головой девушки.

Прошло несколько дней с той злополучной минуты, когда молодая воспитательница вынесла из воды чуть было не погибшую воспитанницу. Принятые меры, чтобы оградить обеих девушек, взрослую и маленькую, от неблагоприятных последствий несчастья, казалось, предостерегли от них обеих.

Для железного здоровья Зюнгейки все прошло бесследно. Но нежный, хрупкий организм Ии не выдержал пережитой катастрофы.

Ледяная вода сделала свое дело. Три дня Ия перемогалась, стараясь всячески победить подступавший к ней недуг, глотая хину, аспирин, малиновый чай...

Но ничто не помогало. Лихорадка усилилась. Теперь она ходила ослабевшая, измученная, с усиливающимся с каждым часом жаром в теле, едва передвигая ноги; или тряслась по ночам в жесточайшем ознобе на своей постели. Сильные покалывания в боку заставляли ее по временам невольно вскрикивать от боли. Но Ия все еще крепилась, не желая сдаваться, все еще боролась с незаметно подкравшимся к ней недугом и на все просьбы встревоженной Кати, заметившей ее недомогание, только отрицательно покачивала головой.

– Нет, нет, пустое, чего там показываться. Перемелется – мука будет.

Но «все» не «перемололось», и в одно несчастное утро Ия уже была не в силах поднять с подушки отяжелевшей головы.

Когда же пансионерки, встревоженные ее осунувшимся

лицом и общею слабостью, уговорили девушку поставить градусник, чтобы измерить температуру, термометр показал 40 градусов в какие-нибудь несколько минут.

Поднялась суматоха, волнение. Позвали Лидию Павловну, пригласили доктора.

Снова добродушный старик выстукивал и выслушивал самым внимательным образом Ию и, к ужасу начальницы, констатировал разыгравшееся у больной воспаление легких.

Не медля ни минуты, Ию одели потеплее и в собственной карете Лидии Павловны перевезли в ближайшую больницу. Там ее еще раз осмотрели, выслушали, выстукали. Затем, обложив всю грудь и спину горчичниками и компрессами, уложили в постель.

Но никакие компрессы, никакие горчичники уже не могли предотвратить ужасной болезни. К вечеру температура поднялась еще выше... Все тело Ии горело теперь как в огне. Она теперь уже ничего не помнила, не сознавала больше... Действительность исчезла для нее... Начался бред...

Ночь... Чуть светит мягким, приятным светом ночник под зеленым абажуром... Быстро, но бесшумно двигаются по больничной палате женского отделения белые фигуры сестриц. С крайней койки слышатся стоны... Запекшиеся от жара и потрескавшиеся губы произносят сумбурные, непонятные слова... Белокурая голова беспокойно мечется по подушке.

– Пить! – единственное сознательное слово срывается у

больной.

Бесшумно приближается к кровати белая фигура сестрицы и подносит стакан с прохладительной жидкостью к горячим губам.

– Больно вам, голубушка? Где болит, родная? – спрашивает участливый голос, и гладко причесанная голова под белой косынкой ниже склоняется над больной. Но больная молчит и дико смотрит в склоненное над нею незнакомое лицо.

Вдруг улыбка, бессознательная, полубезумная, скользит по исхудалому лицу Ии.

– Мама – голубушка... Это вы? – шепчет она. – Не уходите, мамочка, моя радость. Здесь так страшно! Какая черная жуткая вода!.. Внизу омут... Там утонула, говорят, воспитанница... А вот и другая... Это Зюнгейка... Смотрите – смотрите! Какая она смешная!.. У нее рыбий хвост и плавники... И корона на голове, как у морской царицы... И меч у пояса... Ай, ай, как больно... Зачем она ударила меня своим мечом?

Тут дикий бред переходит в стоны... Сильнее мечется горячее тело... Жарче пылает отуманенная голова.

– Надо впрыснуть морфий, больная беспокоится... – говорит одна сестра другой, и обе, склоняясь над Ией, хлопочут около нее.

А днем приезжают Лидия Павловна с Катей. Иногда они берут кого-нибудь из воспитанниц... Чаще всего Еву, Маню Струеву, Шуру или Зюнгейку Карач, особенно сильно полю-

бывших Ию. Но Ия не узнает их. Она не слышит плача Кати, не видит взглядов то затаенной надежды, то скорбного отчаяния нескольких пар устремленных на нее встревоженных глаз... Ее здоровье ухудшается с каждым днем, с каждым часом... Болезнь прогрессирует каждую минуту. К воспалению легких присоединился теперь еще и гнойный плеврит.

Однажды больничный доктор, отведав в сторону Лидию Павловну, с серьезным, сосредоточенным лицом сказал ей:

– Есть у больной близкие, родные? Их надо оповестить... Я больше не могу поручиться за ее жизнь... Случай серьезный...

Начальница молча кивнула головой и отошла от него с угрюмым, замкнутым лицом. В тот день она была особенно заботлива и предупредительна к Кате и осторожно приготовила к печальному событию девочку. А вечером в дортуаре четвертого отделения многие из воспитанниц рыдали в голос, узнав о возможной смерти Ии. Другие ходили с бледными, растерянными лицами.

Шура Августова зарылась головою в подушки и повторяла, съедаемая отчаянием, одно и то же, без конца:

– Это из-за меня... Из-за меня одной она умрет... И если только это правда и она умрет, я тоже не хочу жить больше... и не хочу, и не могу...

Со стиснутыми губами, с белым, как снег, лицом около нее появилась Катя...

– Шура, перестань, я сестра ее, а видишь, не прихожу в

отчаяние раньше времени. Боже мой, да молчи же, не кричи так! И без тебя тяжело невероятно!

Поздно вечером, когда все пансионерки уже спали. Катя села на кровати за ширмами в уголке сестры и полными отчаяния глазами вглядывалась в темноту осенней ночи.

Смутные думы кружились в ее юной головке. Катя думала о том, что нужно было бы завтра отслужить молебен о здравии болящей рабы Божьей Ии, что необходимо послать телеграмму в Венецию Андрюше о серьезном положении старшей сестры и письмо матери, осторожное, подготавливающее ее к несчастью письмо, чтобы не испугать насмерть их дорогую старушку.

Потом Катя опустилась на колени тут же, у постели Ии, и стала горячо молиться, без слов, одними мыслями, одним своим маленьким сердцем, разросшейся в нем огромной тревогой за сестру...

Опять утро... Сырое, осеннее, с неприятным, нудным дождем, барабаниющим в оконные стекла палаты. Серый туман повис над городом и окутал своей промозглой пеленой дворцы и дома, сады, скверы. Нева нахмурилась и потемнела. В это утро Ие был сделан прокол в боку, пораженном плевритом. От боли ли или же вследствие выпущенного из бока гноя, но больная пришла, наконец, в сознание и открыла измученные глаза...

– Андрюша! – сорвалось с ее губ слабым, но радостным звуком.

Над ее койкой между белыми халатами докторов склонилась знакомая голова с густой вьющейся гривой. Серые добрые глаза смотрели на нее с неизъяснимой тревогой и любовью... А полные, добродушные губы ободряюще улыбались ей.

– Андрюша! – еще раз слабым голосом произнесла больная и, сделав усилие над собою, протянула руки.

Они были осыпаны в тот же миг поцелуями и залиты слезами, эти бедные, маленькие, до неузнаваемости исхудалые и пожелтевшие ручки.

Андрей Аркадьевич Басланов несколько дней назад приехал в Петербург, взволнованный телеграммой Кати.

Молодой художник уже неделю находился здесь. Он видел больную сестру в самом отчаянном, самом печальном положении все последние дни... Она бредила, стонала и, никого не узнавая, металась в кровати... И только сегодня, после сделанной ей операции, сознательно глядела.

Радость и изумление выражали ее глаза.

– Иечка, родная моя! Узнала! Узнала меня! – сорвалось с губ Басланова, и он осторожно обнял исхудалые, слабые плечи сестры.

С этого дня началось медленное, но верное выздоровление Ии Слабая, как ребенок, только что начинающий учиться ходить, спустя три недели после этого свидания с братом Ия, встав впервые при помощи сестры милосердия со своей больничной койки, подошла к окну.

Двор и сад больницы были уже покрыты снегом. Когда заболела Ия, был только октябрь месяц. Теперь же стояла середина ноября.

С обрванными волосами, с исхудавшим до неузнаваемости лицом, с огромными вследствие этой худобы глазами, Ия казалась теперь скорее хрупким подростком, нежели взрослой восемнадцатилетней девушкой.

Но радость жизни, хлынувшая живительным потоком в ее душу после перенесенной тяжелой болезни, успела уже бросить первые нежные краски на ее измученное лицо и увеличила блеск огромных серых глаз, ставших прекрасными.

Эти глаза заблестели еще оживленнее, еще ярче, когда за спиной девушки послышались знакомые шаги.

– Андрюша! Наконец-то! Ах, если бы ты знал, как я ждала тебя сегодня!

– Здравствуй, Иечка, здравствуй, родная. Привез тебе две радости нынче, – ласково говорил молодой художник, целуя руку сестры, – одна радость в лице Кати греется там в приемной у камина, другая вот здесь. – И он протянул Ие письмо, полученное им накануне из Яблонек.

Старушка Басланова, узнавшая в смягченной форме о болезни, постигшей старшую дочь, писала ей полные материнской заботы и нежности строки.

Ия не могла не прослезиться, читая это письмо. Потом поцеловала его и спрятала на груди.

– Ну а теперь слушай ворох новостей, которые я принес с

собою, – улыбаясь проговорил Андрей. – Во-первых, наши переехали в Петербург на постоянное жительство. Всей семьей тут: Нетти, ее родители и двое маленьких внуков князя, детей его старшей дочери от первого брака. Во-вторых, твое место классной дамы в пансионе Кубанской временно занято другой наставницей, и, пока ты окончательно не поправишься и не окрепнешь, я не пушу тебя служить, – тоном, не допускающим возражений, заключил молодой художник.

– Но, Андрюша, что же я буду делать без работы? – испуганно вырвалось у девушки.

– Не беспокойся, работа тебе найдется всегда. Внуки князя нуждаются в хорошей учительнице и гувернантке. Юрий Львович не пожалеет для них ничего, лишь бы иметь в доме хорошего человека в качестве наставницы детей. И тебе куда легче будет заниматься с двумя малышами, нежели воспитывать целое отделение почти взрослых барышень, кстати сказать, довольно распущенных и шаловливых.

– Андрюша, постой, подожди... – волнуясь и густо краснея, прервала брата Ия, – ты так говоришь, точно не желаешь моего возвращения в пансион. Неужели же Катя наболтала тебе чего-либо?

– Что значит наболтала, Иечка? Я действительно знаю все, вплоть до твоего самоотверженного подвига, спасшего жизнь совершенно чужого тебе ребенка. Но это отнюдь не относится к делу. Раз ты находишь возможным оставаться при таких шаловливых и взбалмошных детях, я, со своей

стороны, не имею никакого права тебе в этом мешать. Но пока ты лежала здесь без памяти, Лидии Павловне пришлось, хотя и временно, пригласить на твое место одну, очень нуждающуюся в средствах, барышню. Она оказалась хорошей, добросовестной воспитательницей, искренне любящей детей. Со слов Кати, и пансионерки относятся к ней прекрасно, А главное, она совсем бедная и имеет на плечах целую семью. Так неужели же ты, Ия, такая самоотверженная и благородная натура, пойдешь отнимать у нее место, к которому она успела уже привыкнуть? Конечно, там тебя ждут и примут с распростертыми объятиями. Больше того скажу, твой уход из пансиона будет большим лишением для начальницы и ударом для девочек, но... Но, сестренка, подумай о том, что там, куда я тебя зову, ты еще нужнее... Когда ты увидишь воочию бедных внучат Юрия Львовича, ты поймешь, как им будет нужна такая именно наставница, как ты...

И ласковые серые глаза брата с мольбою взглянули в лицо сестры.

– Хорошо, Андрюша, я подумаю, – задумчиво после некоторого колебания проговорила последняя. И действительно долго и серьезно передумывала она, все взвешивая, прежде, нежели решиться на предложение брата.

Между тем выздоровление Ии быстро подвигалось вперед. Через две недели после вышеописанного разговора молодая девушка уже окрепла настолько, что могла выписаться из больницы.

Ее первым шагом по выздоровлении была поездка в пансион.

С радостным криком сбежались к ней навстречу девочки. Ию тормошили, целовали, обнимали... На всех лицах царила самая искренняя, самая неподкупная детская радость при виде ее.

Особенно льнули к ней ее недавние враги: Шура и Зюнгейка.

Нечего и говорить, что обе девочки выражали ей самые непосредственные, самые восторженные чувства.

Увидела Ия и классную даму, временно заменившую ее. Увидела и сразу решила дать возможность последней остаться на ее месте.

Худенькая, миниатюрная девушка, с необычайно добрым лицом и со спокойными, полными сдержанного достоинства манерами очень понравилась Ие. А ее обращение с воспитанницами не оставляло желать ничего лучшего.

Когда Ия сообщила о своем намерении Лидии Павловне покинуть пансион и принять место, предложенное ей братом, начальница сильно встревожилась и долго уговаривала молодую девушку отменить это «жестокое», по ее мнению, решение. Но так как Ия все-таки стояла на своем, госпоже Кубанской пришлось поневоле уступить девушке.

Теперь она только просила Ию об одном: в память ее самоотверженного поступка, спасения Зюнгейки, разрешить воспитывать и содержать за счет пансиона ее младшую сестру

Катю, на суммы, отпускаемые им благотворительным обществом.

– Это будет как бы медалью за спасение вами погибающей, – любезно заключила свою речь начальница.

Ие, долго колебавшейся принять этот «подарок», как она мысленно назвала предложение начальницы, оставалось в конце концов согласиться.

Катя училась прекрасно и вполне заслуживала освобождения от платы. А эта плата так могла пригодиться Юлии Николаевне в ее маленьком хозяйстве!

Последние колебания исчезли, и молодая девушка с благодарностью пожала протянутую ей Кубанской руку.

Тут же обе они решили скрыть от воспитанниц окончательный уход Ии из пансиона, чтобы не волновать сильно привязавшихся к ней за последнее время девочек. Детям было сообщено, что для выздоравливающей Ии Аркадьевны необходимы тишина и спокойствие, для чего она и берет продолжительный отпуск и будет жить у брата.

С таким поворотом дела пансионерки не могли не примириться, и, не подозревая готовящегося им удара, они без особого волнения в тот же вечер всей толпой провожали Ию, уезжавшую от них в дом брата.

Ия уезжала... Недавняя жизнь классной дамы оставалась уже в ее прошлом...

Начиналась новая, еще неведомая, чужая... И с легким смятением, с затаенной тревогой молодая девушка вступила

В ЭТОТ НОВЫЙ, ОТКРЫВШИЙСЯ ПЕРЕД НЕЮ ПУТЬ...